

prose_classic

Владимир
Короленко

Судный день

Через десять дней после еврейского нового года, который празднуется раннею осенью, наступает у евреев праздник Иом-Кипур (очищения). Местное христианское население называет этот день «судным днем» Существует поверье, что в этот день еврейский чорт, Хапун, уносит из синагоги одного еврея. К этому поверью подали повод, вероятно, чрезвычайно трогательные и исполненные особенной выразительности обряды, сопровождающие празднование Иом-Кипура и совершающиеся в маленьких городишках Западного края на виду у христианского населения.

1890

ru

ru

FictionBook Editor Release 2.6
05 January 2011
5BAF9640-5CFF-4367-B3EA-6D4936B9C59D
1.1

Владимир Короленко

Судный день («Иом-кипур»)

I

Вот что: выйди ты, человек, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночью дорогой... А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит, и журчит, и бормочет что-то надбережным яворам... И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом?

Все может случиться. Вот с знакомым моим, ново-каменским мельником, тоже раз приключилась история... Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу, только

уж вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что хоть слышал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю: было это на самом деле или не было...

Ну, да уж было или не было, рассказывать надо, как было.

Раз вечером, после вечерней службы в Новой-Каменке, — а мельница от села верстах этак в полуторах, не более, — мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А отчего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. "Вот как чешет, вражий сын, — говорили добрые люди с великим респектом

[1]

, — хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертится-катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка, угляди хоть одну. Так сот и он читает: речь как кованое колесо по камню гремит, а слова никак не ухватишь".

А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для господ бога; языком как иной здоровенный парубок цепом на току молотил, так что даже в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли.

После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу.

Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах (завалинках), а молодые под тынами, в густой тени от хат да от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно, и только тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех или иной раз — неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары... Эй, мало ли что делается порой в густой тени под вишнями вот в такую ясную да теплую ночь!

Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самую серединой улицы по месяцу. И потому кое-где ему говорили:

— Добрый вечер, господин мельник. А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?

Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости и не задерживая шагу:

— Ага, загостился-таки немного! — и шел себе дальше прегордою поступью.

А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол или просто взяли у него денег за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени и что они молчали, будто воды набрали в рот, — мельник все-таки останавливался и говорил сам:

— А, здоровеньки были! Тут вы? Молчите или не молчите, это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра, утром раненько. А я ждать не стану, вот что!

И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-пречерная, что мельник, человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя:

«Вот какая черная тень, даже удивительно!.. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи...»

Тут поровнялся он с шинком жида Янкеля, что стоял на горке, недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бахорей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жида — это уж всему свету известно — строго наблюдают свою веру: ни за что в праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут: грех! Все это за них и делал наймит Харько, из отставных солдат, а Янкель, или Янкелиха, а то и бахори только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман к Харьку.

«Хитрый народ, ой и хитрый же! — подумал про себя мельник. — Умеют и богу своему угодить и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать, — где нашим!» Он остановился у входа в шинок, на площадке, крепко утопанной множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни, всю неделю, — и спросил:

— Янкель! Эй, Янкель! Дома ты, или, может, тебя нету?

— Нету, не видите, что ли? — отвечал наймит из-за прилавка.

— А где?

— Где — в городе, вот где, — отвечал наймит. — Вы разве не знаете, какой у них день?

— Какой?

— Иом-Кипур!

«Вот обОяснил, так обОяснил!» — подумал про себя мельник. А надо вам сказать, наймит этот человек был письменный и гордый. Любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником. На клиросе читал, пожалуй, не хуже мельника, только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Поэтому в «Часослове» еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в «Апостоле» никаким способом. Зато в чем другом ни за что, бывало, не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему навстречу другое. Мельник скажет иной раз: «не знаю», а наймит тотчас: «а я так знаю». Неприятный человек... Вот и теперь загнул такое слово, что мельник даже под шапку ногтями заскреб, а он радуется.

— Да вы, может, и теперь не догадались, какой это день?

— А что мне и знать всякий жидовский праздник! — ответил мельник с досадой. — Разве я у них служу или что?

— Всякий? То-то вот и есть, что не всякий! Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается. Да еще я вам скажу: такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает.

— Ну, вы скажете!

— Про Хапуна, я думаю, и вы слышали.

— А?

Мельник только свистнул, — как же это он в самом деле не догадался? — и заглянул в окно жидовской хаты. Там, на полу, были разостланы сено и трава, в двойных и тройных светильниках горели тонкие сальные свечки-мока'нки и слышалось жужжание как будто от нескольких здоровенных, в рост человека, пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем, вторая жена и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, в которых слова схватить было невозможно. Однакоже было что-то такое в этом молении удивительное: казалось, кто-то другой сидит внутри жидов, сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем? — кто их знает! Только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах...

У мельника стало от той жидовской молитвы что-то сумно на душе, — и жутко, и жалко. Он переглянулся с наймитом, которому тоже слышно было жужжание из-за корчемной двери, и сказал:

— Молятся!.. Так, говоришь, Янкель поехал в город?

— Поехал.

— И что ему за охота? Ну, как его-то как раз Хапун и цапнет?

— То-то и оно! — ответил наймит. — Кабы так на меня. то даром, что я воевал со всяким басурманским народом и имею медаль, — а ни за какие бы, кажется, карбованцы не поехал. Сидел бы себе в хате, — небось, из хаты не выхватит.

— А почему? Если уж кого схватить, то схватит и в хате. Почему в хате нельзя?

— Почему?.. Если вам нужно выбрать шапку или хотя рукавицы, вы куда за ними пойдете?

— Да никуда, как в лавку.

— А почему в лавку?

— Потому что в лавке шапок видимо-невидимо.

— Вот то-то и оно. Посмотрели бы вы теперь в синагоге: там тоже жидов видимо-невидимо!

Толкуются, плачут, кричат так, что по всему городу слышно, от заставы и до заставы. А где толкун мошкеры толчется, туда, известно, и птица летит. Дурак бы был и Хапун, если бы стал вместо того по лесам да по селам рыскать и высматривать. Ему только один день в год и дается, а он бы его так весь и пролетал понапрасну. Еще в которой деревне есть жид, а в которой, может, и не найдется.

— Ну, таких мало.

— Хотя мало, а все-таки... притом, из многолюдства и выбирать много лучше.

Оба замолчали... Мельник подумал, что опять его наймит зашиб хитрыми словами, и ему стало опять неприятно. А из окон все неслись жужжание, и плач, и причитание жидов.

— Да это еще правда ли? — заговорил мельник, которому захотелось подразнить наймита. —

Может, так люди брешут! Один дурень сбрехнет, а другой и поверит.

Наймиту эти слова не понравились.

— Разве это я сам выдумал, — сказал он, — или мой отец, или сват... Когда это известно всему крещеному народу.

— А вы ж сами это видели?-задорно спросил мельник.

Когда он входил в азарт, то говаривал иногда, что не хочет знать самого чорта, пока его ему не покажут вот так, как на ладони. А теперь он как раз был в самом азарте.

— А вы ж, — говорит, — сами видели? А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вот что!

Наймит спустил маленько голосу и даже что-то закашлялся. Ну, да не такой — волк его заешь! — и он человек был, чтобы совсем сдаться.

— Лгать не стану, — говорит, — сам никогда не видал. Ну, а вы, господин мельник, когда-нибудь Киев видели?

— Нет, не видел, тоже лгать не буду.

— А он-таки есть, хоть вы его и не видали. Тут уж мельник на такое ясное слово совсем вылупил глаза.

«Вот что правда, то правда, — подумал он, — таки Киев есть, хоть я его не видал... Видно, надо верить, когда добрые люди говорят». — Ну, хорошо... От кого ж вы это слышали?

— Ба! от кого? А вы от кого про Киев слышали?

— Тю-тю! Ну, и язык у вас!.. Чистая бритва, чтоб ему отсохнуть!

— Нечего моему языку отсыхать... Если все говорят, то, значит, правда. Не была бы правда, то все не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны...

— Тьфу! Да остановись ты хоть на одну минуту! Я ж уже и сам вижу, что не в тот переулок завернул... А только я б хотел знать, откуда она взялась, такая людская намолвка...

— А оттуда и взялась, что это каждый год бывает. Что бывает, о том и люди говорят, а чего не бывает, о том и говорить не стоит...

— А, вот человек какой! Скажи мне, наконец, что ж такое бывает, вот что!

— Эге-ге, так, видно, вы и этого не знаете, что бывает в судный день?..

— Знал, то б и не спрашивал. Слышу давно, — люди болтают, вот как и ты: Хапун, Хапун, а в какой разум это говорится, и не знаю.

— Так бы сразу и говорили, что не знаете... Если хо-чете знать, так я и расскажу, потому что я побывал-таки на свете, не то что вы. Я и в городе живал не по одному году, и у жидов не первый раз служу.

— А не грех тебе? — усомнился мельник.

— Другому кому грех, а солдату все можно! Нам такая и бумага выдается.

— Разве что бумага...

После этого уже солдат рассказал мельнику дружелюбно всю правду про Хапуна и про то, как он в этот день ежегодно хватает по одному жиду.

Хапун, надо и вам сказать, когда вы не знаете, есть особенный такой жидовский чорт. Он, скажем, во всем остальном похож и на нашего чорта, такой же черный и с такими же рогами, и крылья у него, как у здоровенного нетопыря; только носит пейсы да ермолку и силу имеет над одними жидами. Повстречайся ему наш брат, христианин, хоть о самую полночь, где-нибудь в пустыре или хоть над самым омутом, он только убежит, как пугливая собака. А над жидами дается ему воля: каждый год выбирает себе по одному и уносит...

Для этого-то вот выбора и назначается иом-кипур, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачут, рвут на себе одежду и даже головы зачем-то обсыпают золой из печки.

Перед вечером все моются в речке или на ставах

[2]

, а как зайдет солнце, идут бедняги в свою школу

[3]

, и уж какой оттуда крик слышится, так и не приведи бог: все орут в голос, а глаза от страха закрывают... А уже в это время, как только небо погаснет и станет на нем вечерняя звезда. Хапун вылетает из своего места и вьется над школой, и в окна бьет крылом, и высматривает себе добычу. Но вот когда уже настоящий страх нападает на жидов, так это в самую полночь. Они нарочно зажигают все свечи, чтобы не было так жутко, падают все на пол и начинают кричать, как будто их кто режет. И когда они так лежат и надрываются, Хапун, как большой ворон, влетает в горницу; все слышат, как от его крыльев холод идет по сердцам, а тот, которого он высмотрел ранее, чувствует, как в его спину впиваются чортovy когти. А! рассказывать об этом и то даже мороз по-за шкурой пройдет, а каково-то бедному жижду!.. Само собою, — кричит во все горло. Ну, да кто тут услышит, когда и все тоже галдят, как сумасшедшие? А может, кто из соседей и слышит, так что ж тут делать, — рад, что не ему выпала злая доля!..

Наймит Харько сам слышал не один раз, как после того в местечке разносился звук трубы, да такой звонкий, жалобный и протяжный... Это служба из школы на прощание трубит вдогонку своему бедному брату, между тем как другие надевают в передней «патынки» (потому что в школу входят в одних чулках) и тихо расходятся по домам.

Видел также Харько, как они останавливались кучками против месяца и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя в ночное небо... А в это время, когда уже все до одного разойдется, на полу в передней комнате сиротливо стоит себе пара «патынков» и ждет своего хозяина... Э! сколько бы ни ждала, никогда не дождется, потому что в этот час над полями и лесами, над горами, ярами и долинами Хапун тащит хозяина патынков по воздуху, взмахивая крыльями и хоронясь от христианского глаза. Рад, проклятый, когда ночь выпадет облачная да темная. А ежели тихая да ясная, как вот сегодня, что месяц светит изо всех сил, то, пожалуй, напрасно чертяка и труды принимал...

— А почему? — спросил мельник.

— А потому, что вот видите вы: стоит любому, даже и не хитрому, крещеному человеку, хоть бы и вам, например, крикнуть чертяке: «Кинь! Это мое!»-он тотчас же и выпустит жида. Затрепыхает крылами, закричит жалобно, как подстреленный шуляк

[4]

, и полетит себе дальше, оставшись на весь год без поживы. А жид упадет на землю. Хорошо, если не высоко падать или угодит в болото, на мягкое место. А то все равно, пропадет без всякой пользы... Ни себе, ни чорту.

— Вот так штука! — сказал мельник в раздумьи и со страхом поглядел на небо, с которого месяц действительно светил изо всей мочи. Небо было чисто, и только между луною и лесом, что чернелся вдали за речкой, проворно летело небольшое облачко, как темная пушинка. Облако, как облако, но вот что показалось мельнику немного странно: кажись, и ветру нет, и лист на кустах стоит — не шелохнется, как заколдованный, а облако летит, как птица и прямо к городу.

— А поглядите-ка, что я вам покажу, — сказал мельник наймиту.

Тот вышел из шинка и, опершись спиной о косяк, сказал хладнокровно:

— Ну, так что ж? Нашли, что показывать: облак, так и облак! Бог с ним...

— Да вы поглядите-ка еще, — ветер есть?

— Та-та-та-а... Вот оно что! — догадался наймит. — Прямо в город мандрует...

И оба почесали затылки, задравши головы кверху. А из окон попрежнему несло жужжание, виднелись желтые вытянутые лица, шапки на затылке, закрытые глаза, неподвижные губы...

Жиденята плакали, надрывались, и опять мельнику показалось, что кто-то другой внутри их плачет и молит о чем-то давно утраченном и наполовину уже позабытом...

— А! пора и домой, — очнулся мельник. — А я было хотел гроши Янкелю отдать...

— Можно. Я принимаю за них, — сказал на это наймит, глядя в сторону.

Но мельник притворился, что не слышал этих слов. Деньги были не такие маленькие чтобы вот так, просто, отдать какому-нибудь пройди-свету, отставному солдату.

— Прощайте-ка, — сказал поэтому мельник.

— Прощайте и вы! А деньги я-таки принял бы.

— Не беспокойте себя: отдам и самому.

— Это как себе хотите. А взять и я взял бы, беспокойство небольшое. Ну, пора уж и шинок запирать. Видно, кроме вас никакая собака уже не завернет сегодня.

Наймит опять почесал себе о косяк спину, посвистал как-то не совсем приятно вслед мельнику и стал запирать двери, на которых были намалеваны белой краской кварта, рюмка и жестяной крючок (шкалик). А мельник спустился с пригорочка и пошел вдоль улицы, в своей белой свитке, а за ним опять побежала по земле черная-пречерная тень.

Но теперь мельник раздумывал уже не о своей тени, а совсем-таки о другом...

II

Мельник прошел не более десяти сажень, как в садочке по-за тыном что-то зашуршало и зашумело, будто вспорхнули две большие птицы. Но это были не птицы, а какой-то парубок с девкой, испуганные тем, что мельник сразу вышел из темноты. Впрочем, парубок, видно, был не из страшливых: отойдя еще подальше в тень, так что едва белели под вишнями две фигуры, он крепкою рукой придержал всполохнувшуюся девушку и опять повел тихие речи. А пройдя еще немного, мельник услышал что-то такое, что даже остановился от большой досады...

— А ты, — не знаю, как тебя, — подождет бы хоть целоваться, — сказал он. А то чмокаешь на все село, — сказал он, подойдя к самому тыну.

— А тебе, собачий сын, надо в чужие двери нос совать? — ответил парубок из тени. — Так вот погоди, я и тебя поцелую дрючком по ногам. Будешь вперед знать, как людям делать помеху.

— Ну-ну! — сказал мельник, отходя. — Подумаешь, важную работу делает... Да и подлый же какой-то парубок, как чмокает, даже человеку стало как будто завидно. Распустился народ!

Он постоял, подумал, почесал в голове и потом, привернувши к сторонке, занес ногу через тын и пошел огородам к вдовиной избушке, что стояла немного поодаль, край села, под высокою тополей... Хатка была малюсенькая да еще сгорбилась и похилилась к земле. Оконце было такое крохотное, что его, пожалуй, трудно было и разглядеть, будь ночь сколько-нибудь потемнее. Но теперь хатка вся так и горела от месячного света, солома на ней казалась золотая, а стена серебряная, и оконце чернело на стене, как прищуренный глаз. Огня в окне не было. Должно быть, у старухи с дочкой нечем было вечерять, незачем было и светить. Мельник постоял, потом тихонько стукнул два раза в оконце и отошел к сторонке.

Недолго еще и постоял, как две полные девичьи руки крепко обвили его шею, а меж усов так даже загорелось что-то, как приникли к Мельниковым устам горячие девичьи губы. Э, что тут рассказывать! Если вас кто так целовал, то вы и сами знаете, а если никогда с вами ничего такого не было, то не стоит вам и говорить.

— Филиппко мой, милый, желанный! — говорила, ласкаясь, девушка, — пришел: таки... А я уж ждала-заждалась, думала, иссохну без тебя, как та былинка без воды...

«Э, не иссохла-таки, слава тебе, господи! — подумал про себя мельник, прижимая рукой не очень-то художавый стан девушки. — Слава богу, еще ничего».

— Когда же рушники готовить будем? — заговорила девушка, все еще держа руки на плечах Филиппа и обдавая его горячим взглядом черных очей. — Ведь уж скоро филипповки.

Эта речь прилась мельнику не так по вкусу, как девичьи поцелуи. «Видишь ты, куда гнет, — подумал он про себя. — Эх, Филипп, Филипп, задаст она тебе теперь потасовку». Но, все-таки, набравшись храбрости и отведя свои глаза в сторону, он промолвил:

— Э, какая ты, Галя, ласая

[5]

. Сейчас тебе и рушники. Как же это можно, когда я теперь сам мельник и скоро, может, стану первый богатырь (богач) на селе, а ты — бедная вдовина дочка?

Девку шатнуло от того слова, будто ее ужалила змея. Она отскочила от Филиппа и схватилась рукою за сердце.

— А я думала... ох, бедная ж моя голова!.. Так чего ж это ты, подлый человек, стучал в оконце?

— Эге! — ответил мельник, — чего стучал... А что же мне и не стучать, если твоя мать должна мне деньги? А ты выскочила да прямо целоваться. Что ж мне... Я тоже умею целоваться не хуже людей.

И он опять протянул к ней руку, но только что его рука коснулась девичьего стана, как стан этот вздрогнул, будто девку ужалила гадюка.

— Геть! — крикнула она так сердито, что мельник попятился назад. — Я тебе не бумажка рублевая, что ты меня хватаешь, будто свою. Вот подойди еще, я тебя так огрею, что ты после того забудешь ласовать на три года.

Мельник растерялся.

— Вот какая горячка! А что я, прости господи, жид, что ли, тебе дался, что ты вот так паскудно ласешься?

— А то не жид, что ли? За полтину уже рубль нарастил, да еще тебе мало: ко мне полез за процентами. Геть! — говорю тебе, — постылый!

— Ну, девка!-сказал мельник, опасливо закрывая лицо ладонью, как бы в самом деле не засветила кулаком. — Я вижу, с тобой умному человеку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!

Но старуха уже и без того вышла из хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чем разговор с дочкой. Он подбоченился, и его черная тень на стене так задрала голову, что мельник и сам уже подумал, как это у нее не свалится шапка.

— А знаешь ты, старая, зачем я это пришел? — говорит мельник старухе.

— Ох, как мне, бедной, не знать! Видно, ты пришел за моими деньгами...

— Хе! не за твоими, старая, — засмеялся мельник, — а за своими собственными. Я ж не разбойник какой, чтобы по ночам за чужими деньгами в чужой дом приходить.

— Вот же таки за чужими и пошел, — задорно сказала Галя, взявшись в боки и наступая на мельника, — не за своими же!

— Фу, скаженная

[6]

девка! — сказал тут мельник, отступивши еще шага на два. Ей-богу, такой скаженной девки во всем селе не сыщется. Да не то что в селе, а во всей губернии. Ну, подумай ты, какое слово сказала! Да не будь вот тут одна твоя мать, что, пожалуй, и не пойдет в свидетели, так я бы тебя в суд потянул за бесчестье! Эй, одумайся ты хоть немного, девка!

— А что мне одуматься, когда это чистая правда?

— Какая ж это правда, когда старая у меня брала, да и не выплатила?

— Бреешь, бреешь, как рудая собака! Когда был еще подсыпкой

[7]

да со мной женихался, хотел в дом идти и не говорил, что назад потребуешь. А как дядько помер да сам ты стал мельником, так весь долг уже перебрал, и еще тебе мало?

— А мука?

— Ну, что мука?.. За муку сколько следовало?

— По копе

[8]

, вот сколько! Дешевле никто не отдаст, хоть куда хочешь поезжай, хоть себя отдай в придачу.

— А с нас ты сколько уже перебрал?

— Тю-тю, куда махнула! Язык у тебя тоже... не хуже Харька. Да и я ж тебе на то ответчу: а проценты? Ну, что взяла?

Но Галя уже ничего не ответила. С девками оно часто так бывает: говорит-говорит, лопочет-лопочет, как мельница на всех поставках, да вдруг и станет... Подумаешь, воды нехватило... Так где! Как раз полились рекой горькие слезы и отошла в сторону, все утирая глаза широким рукавом белой сорочки.

— От так! — сказал мельник, чуть-чуть растерявшись, а все-таки довольный. Чего б это я кидался на людей. Не лаялась бы, так нечего бы и плакать.

— Молчи, молчи, молчи ты, постылая тварюка!

— Молчи же и ты, когда так!

— Молчи уже, молчи, моя доню, — прибавила старая мать, тяжело вздохнувши. Старуха боялась, видно, рассердить мельника. Видно, у старухи нечем было заплатить в этот срок.

— Не стану молчать, мамо, не стану, не стану! — ответила девушка, точно в мельнице опять пошли ворочаться все колеса. — Вот же не стану молчать, а коли хотите вы знать, то еще и очи ему выпарапаю, чтобы не смел на меня славу напрасно наводить, да в окна стучать, да целоваться!.. Зачем стучал, говори, а то как хвачу за чуприну, то не погляжу, что ты мельник и богатырь. Небось, прежде не гордился, сам женихался да ласковыми словами сыпал. А теперь уж нос задрал, что и шапка на макушке не удержится!

— Ой, доню, молчи уже, моя смиренная сиротинка! — сокрушенно вздохнув, опять промолвила старуха. — А вы, пан мельник, не взыщите на глупой девке. Молодой разум с молодым сердцем — что молодое пиво на хмелю: и мутно, и бурлит. А устоится, так станет людям на усладу.

— А мне что? — сказал мельник. — Мне от нее ни горечи, ни услады не нужно, потому что я вам не ровня. Мне мои деньги подай, старая, то я на вашу хату и глядеть не стану.

— Ох, нет же у нас! Подожди еще, заработаем с дочкой вдвоем, то и отдам. Ох, горе мое, Филиппушка, и с тобою, и с нею. Ты ж сам знаешь, я тебя, как сына, любила, не думала, не гадала, что ты с меня, старой, те долги поверстаешь да еще с процентами... Хотя бы дочку, что ли, замуж отдать, и женихи есть добрые, — так вот не идет же ни за кого, хоть ты что хочешь. С тех пор, как ты с нею женихался, будто заморозил девку. Лучше, говорит, меня в сырую землю живую закопайте. Дурная и я была, что позволяла вам до зари вот тут простаивать... Ой, лихо мне!..

— А как же мне быть? — сказал мельник. — Ты, старая, этих дел не понимаешь: у богатого человека расход большой. Вот я жиду должен, так отдаю, — отдавайте и вы мне.

— Подожди еще хоть с месяц.

Мельник поскреб в голове и подумал. Маленько-таки разжалобила его старуха, да и Галина узорная сорочка недалеко белела.

— А я, смотри, за это еще десять грошей накину, — сказал он. — Лучше отдала бы.

— Что ж делать! Видно, моя доля такая, — вздохнула старуха.

— Ну, значит, так оно и будет. Я не жид, я-таки добрый себе челявга. Другой бы, уж я верно знаю, накинул бы двадцатку, а я накину десять грошиков и подожду еще до филипповок. Да смотри, тогда уже стану жаловаться в правлении.

И он, не поклонившись, повернулся и пошел себе за околицу, даже не оглядываясь на избушку, у которой долго еще белела узорная сорочка, — белела на черной тени под вишеньем, как белесая звездочка, — и нельзя было мельнику видеть, как плакали черные очи, как тянулись к нему белые руки, как вздыхала девичья грудь.

— Не плачь, доню, не плачь, ясочко, — говорила старая Прйся. — Не плачь, видно такая божия воля.

— Ох, мамо, мамо, хоть бы дала ты мне очи ему выпарапать! Может, мне стало бы легче...

III

После этого мысли мельника стали как-то еще скучнее. «Вот что-то все не так идет на этом свете, — думал он про себя. — Как-то человеку все бывает неприятно, а отчего-и не придумаешь... Вот теперь девка прогнала... Жидом назвала, эге-ге!.. Кабы я был жид да имел такие деньги, да торговлю... да разве так стал бы я жить, как теперь? Нет, не так! Теперь что и за жизнь моя: работай на мельнице сам, ночь не доспи, днем не доешь; гляди за водой, чтоб не утекла, гляди за камнем, гляди за валом, гляди на валу за шестернями, гляди на шестернях за пальцами, чтобы не повыскачили да чтобы забирали ровно... Э, гляди еще и за проклятым работником-подсыпкой. Разве можно положиться на наймига? Только уйди на минуту, сейчас и он, подлый человек, куда-нибудь к девкам утреплется... А, собачья жизнь мельника, просто-

таки собачья! Правда, с тех пор как дядько-царствие ему небесное! — убухался с пьяных глаз в омут, стал я сам хозяином и деньжонки-таки стали заглядывать в мои карманы... Так опять что в них? За рублем каким-нибудь ходишь, ругают тебя и за глаза, да и в глаза не стыдятся, а много ли прибытку? — пустяки! Никогда крещеному человеку не перепадет столько, как жиду. Вот когда бы еще жиды унесла нелегкая из села, тогда, пожалуй, можно бы и развернуться. Ни к кому не пошли бы, как ко мне, и за копейкой, когда надо на подати, и за товаром. Ге! можно бы и шиночек, пожалуй, открыть... А на мельнице или бы кого посадил, или хоть продал бы. Ну ее! Как-то все человек еще не человек, пока работает. То ли дело, когда от грошика грошик сам родится. Этого только дурак не понимает... Заведи себе пару свиней; глядишь — свинья зверь плодущий — через год уж чуть не стадо! Так вот и деньги: пускаешь их по глупым людям, будто на пастбище, только не зевай да умей опять согнать по времени: от гроша родится десять грошей, от карбованца — десять карбованцев...»

Тут мельник вышел уже на самый гребень дороги, откуда начинался пологий спуск к реке. Впереди уже слышно было, — так, чуть-чуть, когда подыхивал ночной ветерок, — как сонная вода звенит в потоках. А сзади, оглянувшись еще раз, мельник увидел спящее в садах село и под высокими тополями маленькую вдовину хатку... Он остановился и подумал немного, почесываясь в голове.

— Э, дурак я был бы! — сказал он, наконец, пускаясь в дальнейший путь. Пожалуй, не выдумай дядько в ту ночь, напившись наливочки, залезть в омут, теперь меня бы уж окрутили с Галею, а она вот мне и неровня. Эх, и сладко же, правда, целуется эта девка — у-у как сладко!.. Вот и говорю, что как-то все не так делается на этом свете. Если б к этакому личику да хорошее приданое... ну, хоть такое, как кодненский Макогоненко дает за свою Мотрей... Э, что уж тут и говорить!..

Он кинул из-под горы последний взгляд назад, когда на селе раздался вдруг удар колокола. Что-то как будто упало с колокольни, что виднелась среди села, на горочке, и полетело, звеня и колыхаясь, над полями.

«Эге, это уже, видно, становится на свете полночь», — подумал он про себя и, зевнув во всю глотку, стал быстро спускаться под гору, думая опять о своем стаде. Ему так и виделись его карбованцы, как они, точно живые, ходят по разным рукам, в разных делах и все пасутся себе, и все плодятся. Он даже засмеялся, представивши, как разные дурни думают, что стараются для себя. А придет срок, и он, хозяин стада, опять стонит его в свой кованный сундук вместе с приплодом.

И все это были мысли приятные. Только воспоминание о жиде опять испортило эти приятные мысли. Мельнику стало скучно, что жид захватил себе все пастбища и его бедным карбованцам нечем кормиться, негде плодиться, точно стаду баранов на выгоне, где уже побывали жидовские козы... Тут уж, известно, не раскормишься.

«Э, чтоб его чертяка забрал, проклятого!» — подумал мельник, и ему показалось, что вот это самое и есть то, отчего ему так скучно... Вот это самое только и есть плохое на свете.

Проклятые жида мешают крещеному человеку собирать свой доход.

Тут, в половине горы, где тихий и будто сонный шум воды в потоках слышался уже без перерывов, — мельник вдруг остановился, как вкопанный, и ударил себя ладонью по лбу.

— Ба, вот была бы штука!.. Право, хорошая штука была бы, ей-богу! Ведь нынче как раз судный день. Что, если б жидовскому чорту полюбился как раз наш шинкарь Янкель?.. Да где! Не выйдет. Мало ли там, в городе, жидов? К тому же еще Янкель — жидаще грузный, старый да костистый, как ерш. Что в нем толку? Нет, не такой он, мельник, счастливый человек, чтобы Хапун выбрал себе из тысячи как раз ихнего Янкеля.

На минуту в голове мельника, как беспокойные муравьи, закопошились другие мысли:

«Эх, Филипп, Филипп! Нехорошо и думать такое крещеному человеку, что ты себе теперь думаешь. Опомнись! Ведь у Янкеля останутся дети, будет кому долг отдать... А второе-таки и грешно, — Янкель тебе худого не делал. Может, другим и есть за что поругать старого шинкаря, так ведь с других-то и ты сам не прочь взять лихву...»

Но на эти неприятные мысли, что стали было покусывать его совесть, как собачонки, мельник выпустил другие, еще посердитее:

«Все-таки жидюга, так жидюга, не ровня же крещеному человеку. Если я и беру лихву, — ну и беру, этого нельзя сказать, что не беру, — так ведь лучше же, я думаю, отдать процент своему брату, крещеному, чем некрещеному жиду».

В эту минуту и ударило в последний раз на колокольне. Должно быть, звонарь Иван Кадило заснул себе под церковью и дергал веревку спросонок, — так долго вызванивал полночь. Зато в последний раз, обрадовавшись концу, он бухнул так здорово, что мельник даже вздрогнул, когда звон загудел из-за горы, над его головой, и понесся через речку, над лесом, в далекие поля, по которым вьется дорога к городу...

«Вот теперь уже все спят на свете, — подумал про себя мельник, и что-то его ухватило за сердце. — Все спят себе, кому где надо, только жида толкутся и плачут в своей школе, да я стою вот тут, как неприкаянная душа, над омутом и думаю нехорошее...»

И показалось ему в тот час все как-то странно... «Слышу, — говорит, — что это звон затихает в поле, а самому кажется, будто кто невидимка бежит по шляху и стонет... Вижу, что лес за речкой стоит весь в росе и светится роса от месяца, а сам думаю: как же это его в летнюю ночь задернуло морозным инеем? А как вспомнил еще, что в омуте дядько утоп, — а я немало-таки радовался тому случаю, — так и совсем оробел. Не знаю — на мельницу идти, не знаю — тут уж стоять...»

— Гаврило! Эй, Гаврило! — крикнул он тут подсыпке-работнику. — Так и есть, на мельнице пусто, а он, лодырь, опять помандровал на село, к девкам.

Вышел Филипп на светлое место, на середину плотины. Слышит: вода просасывается в шлюзах, а ему кажется, что это кто-то крадется из омута и карабкается на колеса...

«Э, лучше пойду-таки спать», — подумал он про себя... Только прежде еще раз оглянулся. Месяц давно перебрался уже через самую верхушку неба и смотрелся на воду... Мельнику показалось удивительно, как это хватает в его маленькой речке столько глубины — и для месяца, и для синего неба со всеми звездами, и для того маленького темного облачка, которое, несется легко и быстро, как пушинка, по направлению из города.

Но так как глаза его уже слипались, то удивлялся он недолго и, отворив отмычкой наружную дверь и запершись опять изнутри задвижкой, чтобы слышать, как вернется гуляка-подсыпка, — отправился к себе на постель

IV

«Эге-ге, встань, Филипп!.. Вот так штука! — вдруг подумал он, подымаясь в темноте с постели, точно его кто стукнул молотком по темени.-Да я ж и забыл: ведь это возвращается из города то самое облачко, которое недавно покатило туда, да еще мы с жидовским наймитом дивились, что оно летит себе без ветру. Да и теперь ветер, кажись, невелик и не с той стороны. Погоди! История, кажется, тут не простая...»

Сильно клонило мельника ко сну. Но... Вот он вышел босиком на плотину и стал на самой середине, почесывая себе брюхо и спину (на мельнице-таки было не без блох!). В спину ему подувал с запруженной реки ветерок, а спереди прямехонько на него катилось облачко. Только теперь оно было уже не такое легкое, летело не так ровно и свободно, а будто слегка колыхалось и припадало, как подстреленная птица. Когда же оно налетело на луну, то мельник уже ясно понял, что это за история, потому что на светлом месяце так и вырезались черные крылья, а под ними еще что-то и какая-то скрюченная людская фигура, с длинной, трясущейся бородою...

«Э-эй! Вот тебе и штука, — подумал мельник. — Несет одного. Что ж теперь делать? Если крикнуть: „Кинь, это мое!“ — так ведь, пожалуй, бедный жид расшибется или утонет. Высоко!»

Но тут он увидел, что дело меняется: чорт со своею ношей закружился в воздухе и стал опускаться все ниже. «Видно, пожадничал да захватил себе ношу не под силу, — подумал мельник. — Ну, теперь, пожалуй, можно бы и выручить жида, — все-таки живая душа, не сравняешь с нечистым. Ну-ко, благословясь, крикну поздоровее!»

Но вместо этого, сам не знает уж как, он изо всех ног побежал с плотины и спрятался под густыми яворами, что мочили свои зеленые ветви, как русалки, в темной воде мельничного затора. Тут, под деревьями, было темно, как в бочке, и мельник был уверен, что никто его не увидит. А у него в это время уж и зуб не попадал на зуб, а руки и ноги тряслись так, как мельничный рукав во время работы. Однако брала-таки охота посмотреть, что будет дальше.

Чорт со своею ношей то совсем припадал к земле, то спясть подымался выше леса, но было видно, что ему никак не справиться. Раза два он коснулся даже воды, и от жида пошли по воде круги, но тотчас же чертяка взмахивал крыльями и взмывал со своею добычей, как чайка, выдернувшая из воды крупную рыбу. Наконец, закатившись двумя или тремя широкими кругами в воздухе, чорт бессильно шлепнулся на самую середину плотины и растянулся, как неживой... Полузамученный, обмерший жид упал тут же рядом.

А надо вам сказать, что наш мельник уже давно узнал, кого это приволок из города жидовский Хапун. А узнавши — обрадовался и повеселел: «А слава ж тебе, господи, — сказал он про себя, — таки это не кто иной, только наш ново-каменский шинкарь! Ну, что-то будет дальше, а только кажется мне так, что в это дело мне мешаться не следует, потому что две собаки грызутся, третьей приставать незачем... Опять же моя хата с краю, я ничего не знаю... А если б меня тут не было!.. Не обязан же я жида караулить...»

И еще про себя думал: «Ну, Филиппушка, теперь твое время настанет в Новой-Каменке!..»

У

Долгое время оба-и бедный жид, и чертяка-лежали на плотине совсем без движения. Луна уже стала краснеть, закатываться и повисла над лесом, как будто ожидала только, что-то будет дальше. На селе крикнул было хриплый петух и твякнула раза два какая-то собака, которой, верно, приснился дурной сон. Но ни другие петухи, ни другие собаки не отозвались, — видно, до свету еще было порядочно далеко.

Мельник издрог и стал уже подумывать, что это все ему приснилось, тем более что на плотине совсем потемнело и нельзя было разобрать, что там такое чернеет на середине. Но когда долетел из села одинокий крик петуха, в кучке что-то зашевелилось. Янкель поднял голову в ермолке, потом огляделся, привстал и тихонько, по-журавлиному приподнимая худые ноги в одних чулках, попытался улепетнуть.

— Эй, эй! придержи его, а то ведь уйдет, — чуть было не крикнул испугавшийся мельник, но увидел, что чорт уже прихватил шинкаря за длинную фалду.

— Погоди, — сказал он, — еще рано... Смотри ты, какой прыткий! Я не успел еще отдохнуть, а ты уже собрался дальше. Тебе-то хорошо, а каково мне тащить тебя, такого здорового! Чуть не издох.

— Ну, — сказал жид, стараясь выдернуть фалду, — отдыхайте себе на здоровье, а я до своей корчмы и пешком дойду. Чорт даже привстал.

— Что такое? Что, я тебе в балагулы

[9]

, что ли, нанялся, возить тебя с шабаша домой, собачий сын? Ты еще шутишь...

— Каково могут быть шутки, — ответил хитрый Янкель, прикидываясь, будто он совсем не понимает, чего от него нужно чорту. — Я вам очень благодарен за то, что вы меня Доставили досюдова, а отсюдова я дойду сам. Это даже вовсе недалекое расстояние. Зачем вам себя беспокоить?

Чорт аж подскочил от злости. Он как-то затрепыхался на одном месте, как курица, когда ей отрежут голову, и сразу подшиб Янкеля крылом, а сам опять принялся дышать, как кузнечный мех.

«Вот так! — подумал про себя мельник. — Хоть оно, может быть, и грешно хвалить чорта, а этого я, все-таки, похвалю, — этот, видно, своего не упустит».

Янкель, присев, стал очень громко кричать. Тут уже и чорт не мог ничего поделывать: известно, что пока у жида душа держится, до тех пор ему никаким способом не зажмешь глотку, — все будет голосить. «Да что толку? — подумал мельник, оглядываясь на пустую мельницу. — Подсыпка теперь гуляет себе с девками, а то и лежит где-нибудь пьяный под тыном».

В ответ на жалобный плач бедного Янкеля только сонная лягушка квакнула на болоте да бугай прокинулся в очерете и бухнул раза два, точно в пустую бочку: бу-у, бу-у!.. Месяц, как будто убедившись, что дело с жидом покончено, опустил окончательно за лес, и на мельницу, на плотину, на реку пала темнота, а над омутом закурился белый туман.

Чорт беспечно затрепыхал крыльями, потом опять лег, заложив руки за голову, и засмеялся.

— Кричи, сколько хочешь. На мельнице пусто.

— А вы почему знаете? — огрызнулся еврей и продолжал голосить, обращаясь уже прямо к мельнику: — Пан мельник, ой, пан мельник! Серебряный, золотой, бриллиантовый! Пожалуйста, выйдите сюда на одну, самую коротенькую секунду и скажите только три слова, три самых маленьких слова. Я бы вам за это подарил половину долга. «Весь будет мой!» — сказала что-то в голове у мельника.

Жид перестал кричать, понурил голову, и горько-прегорько заплакал. Прошло еще сколько-то времени. Месяц совсем ушел уже с неба, и последние отблески угасли на самых высоких деревьях. Все на земле и на небе, казалось, заснуло самым крепким сном, нигде не слышно было ни одного звука, только еврей тихо плакал, приговаривая:

— Ой, моя Сура, ой, мои детки, мои бедные детки!..

Чорт немного отдышался и сел, все еще сторбившись, на гати. Над гатью, хоть было темно, мельник ясно увидел пару рогов, как у молодого телка, которые так и вырезались на белом тумане, что подымался из омута.

«Совсем как наш!» — подумал мельник и почувствовал себя так, как будто проглотил что-то очень холодное.

В это время он заметил, что жид толкает чорта локтем.

— Что ты толкаешься? — спросил тот.

— Нет! Я что вам хочу сказать...

— Что?

— Скажите вы мне на милость, и что это у вас за мода — хватать непременно бедного жида... Почему вы не возьмете себе лучше хорошего гоя. Вот тут живет недалеко отличный мельник. Чорт глубоко вздохнул. Может, и ему стало-таки скучно около пустой мельницы над омутом, только он пустился в разговор с жидом. Приподняв с головы ермолку, из-под которой висели длинные пейсы, — он заскреб когтями в голове так сильно, как самый злоущий кот скребет по доске, когда от него уйдет мышь, — и потом сказал:

— Эх, Янкель, не знаешь ты нашего дела! К ним я не могу и приступить.

— Ну! И что тут долго приступить, что за большово хитрость? Я сам знаю, как вы меня сразу хапинули, что я не успел даже и крикнуть.

Чорт весело засмеялся, так что даже спугнул какую-то ночную птицу на болоте, и сказал:

— Что правда, то правда: вас хватать легко... А знаешь ты, почему?

— Ну-у?

— Потому, что вы и сами хапаете здорово. Я тебе скажу, что такого грешного народа, как вы, жида, и нет другого на свете.

— Ой-вай, удивительно! А каково же это на нас греха?

— А вот послушай...

Тут чорт повернулся к жиду и стал считать по пальцам.

— Дерете с людей проценты — раз!

— Раз, — повторил Янкель, тоже загибая палец.

— Людским потом-кровью кормитесь-два!

— Два.

— Спаиваете людей водкой — три.

— Три.

— Да еще горелку разбавляете водой — четыре!

— Ну, пускай себе четыре. А еще?

— Мало тебе, что ли? Ай, Янкель, Янкель!

— Ну, я не говорю, что этого мало, а только я говорю, что вы не знаете своего собственного дела. Вы думаете, мельник не берет проценты, вы думаете, мельник не кормится людским потом и кровью?..

— Ну, не брешь на мельника. Он человек крещеный! А крещеный человек должен жалеть не только своих, а всех людей, хотя бы и вас, жидов. Нет, Янкель, трудно к крещеному приступить.

— Ой-вай, каково это ошибка! — крикнул жид весело. — Ну, так я вам вот что буду говорить. Он вскочил, и чорт также приподнялся, и оба стояли друг против друга. Жид что-то прошептал, указав через спину на яворы, и, загнув палец, показал его чорту:

— Раз!

— Бреешь, не может этого быть! — сказал чорт, немного даже испугавшись, и сам посмотрел на яворы, где притаился Филипп.

— Пхе, я лучше знаю! А вы погодите. Он опять прошептал и сказал:

— Два! А это вот, — и он еще раз зашептал чорту на ухо, — будет три, как честный еврей!.. Чорт покачал головой и повторил в раздумья:

— Не может быть.

— Давайте об заклад побьемся. Если моя правда, то вы через год меня отпустите целого и еще заплатите мне убытки...

— Ха! Я согласен. Вот это была бы штука, так штука! Тогда бы я не дал маху...

— Ну, я вам говорю, вы сделаете славный гешефт!.. В это время на селе крикнул тот же петух, и хотя крик был такой же сонный и на него опять никто нигде не откликнулся среди молчаливой ночи, но Хапун встрепенулся.

— Э! Ты мне тут все сказки рассказываешь, а я и уши развесил. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. Собирайся!

Он взмахнул крыльями, взлетел сажени на две над плотиной и опять, как коршун, кинулся на бедного Янкеля, запустивши в спину его лапсердака свои когти и прилаживаясь к полету... Ох, и жалобно же кричал старый Янкель, протягивая руки туда, где за рекой стояла на селе его корчма, и называя по имени жену и деток:

— Ой, моя Сурке, Шлемка, Ителе, Мовше! Ой! господин мельник, господин мельник, пожалуйста заступитесь, скажите три слова! Я ж вижу вас, вот вы стоите тут под явором. Пожалейте бедного жида, ведь и жид тоже имеет живую душу.

Очень жалобно причитал бедный Янкель! У мельника будто кто схватил рукою сердце и сжал в горсти. А чертяка точно ждал чего, — все трепыхался крыльями, как молодой стрепет, не умеющий летать, и тихо-тихо размахивал Янкелем над плотиной...

«Вот подлый чертяка, — подумал про себя мельник, прячась получше за явором, — только мучает бедного жида! А там, гляди, и петухи еще запоют...»

И только он подумал это, как чорт захохотал на всю реку и разом взвился кверху... Мельник задрал голову, но через минуту чорт казался уже не больше вороны, потом воробья, потом мелькнул, как муха, как комарик... и исчез.

А на мельника тут-то и напал настоящий страх: затряслись коленки, застучали зубы, волосы поднялись дыбом, и уж сам он не помнит хорошенько, что с ним было дальше...

VI

— Стук-стук!..

— Стук-стук-стук!.. Стук-стук!.. Что-то стучало в дверь мельницы, так что гул ходил по всему зданию, отдаваясь во всех углах. Мельник подумал, уж не чертяка ли вернулся, — недаром шептался о чем-то с жидом, — и потому он зарылся с головой в подушку.

— Стук-стук!.. Стук-стук!.. Эй, хозяин, отчиняй!

— Не отчиню.

— А почему так не отчините? Мельник приподнял голову.

— Э, кажись, голос подсыпки Гаврилы... Гаврило, ты?

— А то кто?

— Побожись!

— Ну?

— Побожись!

— Да ну же, ей-богу, я! Где ж это видано, чтоб я да не я был? Еще и божись. Вот чудасия... Мельник все-таки поверил не сразу. Он взошел наверх и тихонько посмотрел из оконца, что было над дверьми. Действительно, внизу у стены спокойно стоял подсыпка и делал такое дело, что, пожалуй, никто и не слышал, чтобы черти когда-нибудь такое делали. У мельника отлегло от сердца, он сошел вниз и отпер дверь.

Подсыпку даже отшатнуло, когда он увидел мельника в дверях.

— Э, хозяин, что такое с вами?

— А что?
— Да побойся бога, зачем это ты морду всю в муке вымазал? — белая, как стена!
— А ты, часом, не по-над речкою ли шел?
— А по-над речкою.
— А не глядел ли кверху?
— А может, глядел и кверху.
— А не видал ли, часом, того?
— Кого?
— Кого!.. Дурень! Того, что хапнул шинкаря Янкеля.
— А какой его бес хапнул?
— Какой!.. Известно какой-жидовский Хапун! Не знаешь разве, какой у них сегодня день!..
Подсыпка посмотрел на мельника мутным взглядом и спросил:
— А вы на селе, часом, не были?
— Был.
— А в шинок не заходили?
— Заходил.
— А горелки не выпили?
— Тьфу! Вот и говори с дурнем. Горелку я пил у попа, а все-таки своими глазами вот сейчас видел: чертяка на плотине отдыхал вместе с жидом.
— Где?
— Вот тут, на самой середине.
— Ну, и что?
— Ну, и... — мельник свистнул и махнул рукой по воздуху.
Подсыпка посмотрел на плотину, потом, задравши голову, на небо и почесал в чуприне.
— Э, вот это так чудеса! Что ж теперь будет? Как же теперь без жида?
— А на что тебе непременно жид, а?
— Э, не говорите, хозяин: без жида как-то оно не того... без жида не можно и быть...
— Тю!.. Дурень, так дурень и есть!
— Что вы лагаетесь? Я и сам не скажу, что умный, а все-таки знаю, что просо, а что гречка; работать иду на мельницу, а водку пить — в шинок. Вот вы и скажите мне, когда вы такой умный: кто ж у нас теперь будет шинковать?
— Кто?
— А таки кто?
— А может и я?
— Вы?
Подсыпка посмотрел на мельника, вылупивши глаза, потом покачал головою, щелкнул языком и сказал:
— Ну, разве что так!
Тут только мельник заметил, что подсыпку плохо держат ноги и что парубки опять подбили ему левый глаз. Харя была у этого подсыпки, сказать правду, такая паскудная, что всякому человеку, при взгляде на нее, хотелось непременно плюнуть. А поди ты: до девчат был самый проворный человек, и не раз-таки парни делали на него облаву и бивали до полусмерти... Что бивали, это, конечно, еще не большое диво, а то чудно, что было-таки за что бить!
«Вот ведь нет на свете такой паскудной хари, — подумал, глядя на него, мельник, — которую бы ни одна девка не полюбила. А то и две, и три, и десять... Тьфу ты пропасть!..»
— Вот что, Гаврилушко, — сказал все-таки мельник ласковым голосом, — поди ляг со мною. Когда человек видел такое, что я видел, так что-то бывает страшно.
— А мне что? То и лягу.
Через минуту какую-нибудь подсыпка начал уже посвистывать носом. А скажу вам, такого свистуна носом, как тот подсыпка, другого и не слышал. Кто этого не любит, так уж с ним в одной хате не ложись, — всю ночь не уснешь...
— Гаврило, — сказал мельник, — эй, Гаврило!
— А что еще? Чего бы я это и сам не спал, и другому не давал?
— Били тебя опять?
— Ну, так что? — Где?
— Все надо вам знать. На Кодне.

— Уж и на Кодне?.. Зачем тебя туда понесло?
 — Зачем... Чего бы я спрашивал, гы-гы-гы!..
 — Мало тебе ново-каменских девок!
 — Тьфу! Мне на них и смотреть уже на ново-каменских обридло. Ни одной по мне нет.
 — А Галя вдовина?
 — Галя... А что ж такое Галя?
 — А ты к ней ходил?
 — Так неужели же нет?
 Мельника даже подкинуло на постели.
 — Брешешь, собачий сын, чтобы твоей матери лихорадка!
 — Вот же и не брешу, я и никогда не брешу. Пускай за меня умные брешут.
 Подсыпка зевнул и сказал засыпающим голосом:
 — Помните, хозяин, как у меня правый глаз на всю неделю запух, что и не было видно...
 — Ну?
 — Она это, собачья дочка, так угостила... Тьфу на нее, вот что!.. А то еще: Галя!
 «Разве что так», — подумал мельник. — Гаврило, а Гаврило!.. Вот, собачий сын, опять засвистел... Гаврило!
 — Что еще? Загорелось, что ли?
 — Хочешь ты жениться?
 — Сапогов еще не сшил. Вот сошью, тогда и подумаю.
 — А я бы тебе справил чоботы на дегтю... И шапку, и пояс.
 — Разве что так. А вот я что вам скажу, так это будет еще умнее.
 — А что?
 — А то, что уже на селе петухи кричат. Слышите, как заводят?
 И правда: на селе, может быть в Галиной хате, кричал-надрывался горлан-петух: ку-ка-ре-ку-у...
 — Кук-ка-ре-ку-у... ку-у... ку-у! — отвечали ему на разные голоса и ближние, и дальние, с другого конца села, так что от петушиных криков точно в котле кипело, да и в стенах каморки побелели уже все, даже самые маленькие щели.
 Мельник сладко зевнул:
 — Ну, теперь они далеко! Поминай Янкеля как звали... Вот штука, так штука! Если эту штуку кому-нибудь рассказать, то, пожалуй, брехуном назовут. Да мне об этом, пожалуй, и говорить не стоит... Еще скажут, что я... Э, да что тут толковать! Когда бы я сам жиды убил или что-нибудь такое, а тут я ни при чем. Что мне было мешаться в это дело? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами; дурень кричит, а разумный молчит... Вот и я себе молчал!..
 Так говорил сам себе мельник Филипп, чтобы было легче на совести, и только когда уже вовсе стал засыпать, то из какого-то уголка в его сердце выползла, как жаба из норы, такая мысль: «Ну, Филипп, настало твое время!»
 Эта мысль прогнала у него из головы все другие и села хозяйкою.
 С тем и заснул.

VII

Вот раненько утром, роса еще блестит на траве, а мельник уже оделся и идет по дороге к селу. Приходит на село, а там уж люди спуют, как в муравейнике муравьи: «Эй! не слышали вы новость? Вместо шинкаря привезли из городу одни патынки».
 Вот было в то утро в Новой-Каменке и разговоров, и пересудов, да немало-таки и греха!
 Вдова Янкеля, получив вместо мужа пару патынок, совсем растерялась и не знала, что делать. Вдобавок еще Янкель, с большого ума, да не надеявшись, что его заберет Хапун, захватил с собою в город всю выручку и все долговые расписки с бумажником. Конечно, мог ли бедный жид думать, что из целого кагала выхватит как раз его?

— Вот так-то всегда человек: не чует, не гадает, что над ним невзгода, как тот Хапун, летает, — толковали про себя громадские люди, покачивая головами и расходясь от шинка, где молодая еврейка и ее ба'хори (дети) бились об землю и рвали на себе волосы. А между прочим, каждый думал про себя: «Вот, верно, и моя запись улетела теперь к чорту на кулички!»

Сказать правду, так не очень много нашлось в громаде таких людей, у которых заговорила маленько совесть:

«А таки не грех бы отдать жидовке, если не с процентами, то хоть чистые деньги...» А если уж говорить всю правду целиком, — то никто не отдал ни ломаного ше'ляга...

Не отдал и мельник. Ну, да мельник себя в счет не ставил.

Вот вдова Янкеля и просила, и молила, и в ногах валялась, чтобы господа-громадяне согласились отдать хоть по полтине за рубль, хоть по двадцати грошей, чтоб им всем сиротам не подохнуть с голоду да как-нибудь до городу добраться. И не у одного-таки хозяина с добрым сердцем слезы текли по усам, а кое-кто толкнул-таки локтем соседа:

— Побоялись бы вы бога, сосед! Вы ж, кажется, что-то такое должны были жиду. Отдали бы вот... Ей-богу, надо бы вам хоть сколько-нибудь отдать.

Но сосед отвечал:

— А что мне отдавать, когда я ему своими руками все деньги принес до последнего грошика?

Второй раз стану платить, что ли? Вот вы, сосед, другое дело...

— А почему это другое дело, когда как раз то же самое, как и у вас? Незадолго до отъезда пришел ко мне Янкель, да как стал просить: отдай да отдай, — я и отдал.

Мельник слушал все это, и у него болело сердце... Эх, народ какой! Нисколько не бояться бога!

Ну, панове-громадо, видно, при вас плохо не клади, — как раз утянете; да и кто вам палец в рот сунет, тог чистый дурак!.. Нет, уж от меня не дождетесь... Вы мне этак в кашу не наплюете.

Лучше уж я сам вам наплюю...

Одна только старая Прися принесла жидовке два десятка яиц да половину новины и отдала за сколько-то грошей, что осталась должна шинкарю.

— Бери, небого, не взыщи! Осталось там за мною еще сколько-то, так отдам, как бог даст.

Последнее и то принесла.

— Вот подлая баба!-обозлился мельник.-Вчера мне не отдала, а для жидовки так вот и нашлось.

Ну, и народ! Старым и то нельзя стало верить. Крещеному человеку не могла отдать... Погоди, старая, сочтусь я с тобой после...

Вот собрала Янкелиха своих бахорей, продала за бесценок «бебехи» и водку, какая осталась, — а и осталось немного (Янкель хотел из города бочку везти), да еще люди говорили, будто Харько нацедил себе из остатков ведерко-другое, — и побрела пешком из Новой-Каменки. Бахори за нею... Двух несла на руках, третий тащился, ухватясь за юбку, а двое старших бежали вприпрыжку...

И опять миряне скребли свои затылки. У кого была совесть, тот себе думал: «Хоть бы подводу дать за жидовские деньги...» Да, видите, побоялся каждый: пожалуй, люди догадаются, что, значит, он с жидом не рассчитался. А мельник опять думал: «Ну, народ! Вот так же и меня будут рады спровадить, если я когда-нибудь дам маху».

Так-то бедная вдова и поплелась себе в город, и уж бог ее знает, что там с нею подеялось.

Может, присосалась где с детьми к какому-нибудь делу, а может, и пропали все до одного с голоду. Все бывает! А впрочем, жида своего не покидают. Худо-худо, а все-таки дадут как-нибудь прожить на свете.

Стала после этого громада толковать, кто ж теперь у них, в Новой-Каменке, будет шинкарем?

Потому что, видите ли, хоть Янкеля не стало, а шинок все стоял себе на пригорочке, и на дверях остались намазанные белою краской кварта и жестяной крючок...

И даже Харько сидел себе на пригорочке и покуривал люльку, выжидая, кого-то бог пошлет ему в хозяева.

Правда, один раз, под вечер, когда громадские люди стояли у пустой корчмы и разговаривали о том, кто теперь будет у них шинковать и корчмарить, — подошел к ним батюшка и, низенько поклонясь всем (громада — великий человек, пред громадою не грех поклониться хоть и батюшке), начал говорить о том, что вот хорошо бы составить приговор и шинок закрыть на веки вечные. Он бы, батюшка, и бумагу своею рукой написал и отослал бы ее к преосвященному. И было бы весьма радостно, и благолепно, и миру преблагополучно.

Старые люди, а за стариками и бабы стали было говорить, что батюшкина чистая правда, а мельнику то слово показалось совсем неправильно и даже обидно.

«Вот тебе и батько, — подумал он с сердцем, — вот тебе и приятель! Да нет, погоди еще, пан-отче, что будет...»

— Вот это-такк, батюшка, ваша правда, — льстиво заговорил он, — что от той бумаги будет благополучно... А только, не знаю я, кому: громаде или вам. Сами вы, — не взыщите на моем слове! — всегда водочку из города привозите, то вам и не надо шинка. А таки и то вам на руку, что владыка станет вашу бумагу читать да похваливать.

Громадяне усмехнулись себе в усы, а батюшка только плюнул от великой досады, нахлобучил соломенную шляпу и пошел прочь от шинка по улице, будто не за тем и приходил...

Ну, что уж тут рассказывать! Я думаю, вы и без того догадались, что мельник задумал сам корчмарить в той жидовской корчме. А задумавши, поговорил хорошенько с громадою, угостил-таки кого надо в земском суде, с исправником умненько потолковал, потом с казначеем, а наконец со становым приставом да с акцизным надзирателем.

Вернувшись после всего этого на село, пошел мельник к шинку, а там сидит Харько и покуривает на пригорочке люльку. Мельник только мотнул ему головой, как Харько, — хоть и гордый человек, — тотчас вскочил на ровные ноги и подбежал к нему.

— Ну, что скажешь? — спросил у него мельник.

— А что мне говорить? Подожду, не скажете ли вы мне чего-нибудь.

— То-то!

Не стал уже теперь мельника словами гвоздить, а сгреб в обе руки картуз и, выслушавши, что ему сказал Филипп, ответил умненько:

— Рад стараться для вашей хозяйской милости!

И стал мельник шинковать в Новой-Каменке лучше Янкеля, и стал сдавать людям на выпас свои карбованцы, а как придет срок — сгонять их опять в свою скрыню, вместе с приплодом. И никто уже не мешал ему в Новой-Каменке.

А что люди не раз от него плакали горькими слезами, — ну, и это тоже правда... Таки плакали не мало: может, не меньше, чем от Янкеля, а может, еще и побольше, — этого уж я вам не скажу наверное. Кто там мерил мерою людское горе, кто считал счетом людские слезы?.. Никто не мерил, никто и не считал, а старые люди так говорят: идет или ходит, на одно выходит, что клюкой, что палкой — все спине не сладко... Не знаю, как кто, а я думаю, что это правда...

VIII

Вот, признаться вам, и не хотелось бы мне про своего приятеля такое рассказывать, а делать нечего: начал, так надо довести до конца, — из песни, говорится, и слова одного не выкинешь... Вот, видите, какое дело... Старому Янкелю только и нужна была людская копейка. Бывало, где хоть краем уха слышит, что у человека болтается в кармане рубль или хоть два, так у него сейчас и засверлит в сердце, сейчас и придумывает такую причину, чтобы тот рубль, как карася из чужого пруда, выудить. Удалось — он и радуется себе со своею Суркой.

Ну, а уж мельнику этого мало. Янкель сам перед всяким человеком в три погибели гнулся, а мельник людей гнет, а сам голову дерет кверху, как индюк. Янкель, бывало, юркнет к становому с заднего хода и трусится у порога, а мельник валится на крыльцо, как в свою хату. Янкелю, если под пьяную руку кто и в ухо заедет, так он сильно не обижался: повизжит, да и перестанет, разве потом выторгует лишний пятак. А мельник и сам не одному христианину так чуприну скубнет, что, пожалуй, и в руках останется, а из глаз искры, как на кузнице из-под молота, посыплются... Да, вот какое дело; мельнику и денежки отдай, и почет. Перед иконой люди низко кланялись, а перед моим приятелем еще ниже.

А ему все что-то мало. Ходит сердитый да невеселый; будто его щенок какой за сердце тербит. И все себе думает:

«А не так что-то на свете устроено — нет, не так! Что-то человеку и с деньгами не так весело, как бы хотелось».

Вот раз Харько его и спрашивает:

— А что вы это, хозяин, невеселый все ходите, будто кто вас в помой окунул? Чего еще ваша хозяйская душа хочет?

— Может, если б я женился, то стало бы мне повеселее.

— Так оженитесь, на здоровье вам.

— То-то вот и оно. А как тут ожениться, когда дело не выходит, с какой стороны за него ни хватиться? Я уж скажу тебе правду: как был я еще не мельник, а только подсыпка, то любился тут на селе с Галей вдовиной, может знаешь... И если б дядько не утоп, то был бы я уже женатый. А теперь сам ты рассуди: ведь я ей не ровня.

— Какая тут ровня! Вам теперь только и жениться, что на богача Макогона дочке, на Мотре.

— Вот! Я и сам вижу, и люди говорят все одним голосом, что по моим деньгам Макогоновы как раз придутся... Так опять... не по вкусу мне она! Сидит целый день, как копна сена, да семечки лущит. Как взгляну на нее, так будто кто меня за нос возьмет да и отворотит в сторону... То ли дело Галя!.. Вот и говорю: не так как-то на свете устроено. Одну полюбил бы, — хватя, а деньги-то у другой... Вот иссохну когда-нибудь, как былинка... Светом гнушаюсь.

Солдат вынул изо рта свою носогрейку, сплюнул в сторону и говорит:

— Плохо! Другой человек ни за что и не придумал бы, как этому делу помочь, а я присоветую, так не пожалеете, что послушались. А пожалуй, еще и отдадите новые сапоги, что остались от Опанаса в залоге, а?

— Ну, за такое дело и сапогов не жаль, только верно ли ты придумал?..

И действительно, придумал подлый солдат, — бес его не взял! — такое придумал, что если б все вышло по его слову, то теперь уж на мельнике черти на том свете воду давно возили бы...

— Вот, — говорит, — слушайте хорошенько. Стало быть, есть вас трое людей — один мужик да две девки. И, стало быть, нельзя никак одному на двух жениться, потому что вы не турецкой веры.

«Вот, подлый, как все верно сказал! — подумал мельник. — Что-то скажет дальше?»

— Хорошо! Как вы богатый человек и Мотря богатая невеста, так тут уж и малому ребенку ясно: посылайте сватов к старому Макогону.

— Правда! Да только я это знал и без тебя... А как же с Галей?

— А вы дослушали до конца? Или, может, сами знаете, что я хотел сказать?..

— Ну-ну, уж и осердился!

— Вы всякого человека рассердите. Не такой я человек, чтобы начать речь да и не кончить.

Будет и о Гале речь. Она вас любила?

— А таки так!

— А вы тогда кто были, как она вас любила?

— Подсыпка.

— Так это опять малый ребенок поймет: когда девка любила подсыпку, то и быть ей замужем за подсыпкой.

Мельник вылупил глаза и в голове у него, точно на мельнице в помол, все пошло кругом.

— Да я же теперь не подсыпка!

— Вот беда какая. А разве у вас на мельнице нет подсыпки?..

— Это Гаврило?.. Э-э, вот ты что придумал. Пускай же, когда так, он тебе и сапоги дарит за такую придумку. А я скажу на это, что не дождет ни он, ни его дядя с тетками, чтоб я такое дело потерпел. Вот лучше пойду да ноги ему переломаяю.

— А! Какой горячий человек, хоть яйца в нем пеки!.. Да я ж совсем другое хотел вам сказать...

— А что ж ты еще после такой шутки можешь сказать, когда мне это не нравится?

— А вы послушайте.

Харько вынул люльку изо рта, посмотрел на мельника, прищуривши один глаз, и так прищелкнул языком, что у того сразу стало веселее на сердце...

— А вы, говорю, ее любили и бедную?..

— То-то что любил!..

— Ну, так и любите себе на здоровье, когда она будет за подсыпкой. Вот теперь и моей речи конец: вот вы все трое и будете жить на одной мельнице, а четвертый дурень не в счет... Ага! теперь поняли, чем я вас угощаю, медом или дегтем? Нет! Харька били не по голове, а куда следует, оттого и умный вышел: знает, кому достанется орех, кому скорлупа, а кому новые сапоги...

— А может, еще и не выйдет дело?
— Почему ж ему и не выйти?
— Мало ли почему. Вот старый Макогон не согласится.
— Вот! Когда б я с ним не говорил!..
— Ну?
— То-то. Ехал из городу с водкой, а он-навстречу. То да с+-, и говорю: «Вот вашей дочери жених — наш мельник».
— А он что?
— «Не дождет, говорит, ваша бабушка! Что, говорит, он стоит?»
— А ты что?
— А я говорю: «Вы, видно, не знаете, что нашего жида Хапун унес?»
— «А когда так, говорит, — то дело другое: как жида на селе не стало, то и мельник — стоящий человек...»
— Ну, хорошо, Макогон согласится. Так еще Галя пойдет ли за подсыпку?..
— Э, как девуку с матерью погонят из хаты, то рада будет жить и на мельнице.
— Так-то оно так...

IX

Мельник почесался... А делу этому, вот, что я вам рассказываю, идет уж не день, а без малого целый год. Не успел как-то мельник и оглянуться, — куда девались и филипповки, и великий пост, и весна, и лето. И стоит мельник опять у порога шинка, а подле, опершись спиной о косяк, Харько. Глядь, а на небе такой самый месяц, как год назад был, и так же речка искрится, и улица такая же белая, и такая же черная тень лежит с мельником рядом на серебряной земле. И что-то такое мельнику вспомнилось.

— Э, послушай, Харько!
— А что?
— Какой сегодня день?
— Понедельник.
— А тогда, помнишь, как раз суббота была.
— Мало ли их было суббот...
— Тогда, год назад, в судный день.
— А, вот вы что вспомнили! Да, тогда была суббота.
— А теперь, когда у них судный день придется?
— Вот я и сам не скажу, когда он придется. Жида поблизости нет, так и не знаю.
— А небо, гляди, какое чистое, как раз такое, как и в тот день..

И мельник со страхом посмотрел на окно жидовской хаты, не увидит ли опять, как жиденята мотают головами и жужжат, и молятся о своем батьке.

Э, нет! То все уже прошло. От Янкеля не осталось, должно быть, и косточек, сироты пошли по дальнему свету, а в хате темно, как в могиле... И на душе у мельника так же темно, как в этой пустой жидовской хате. «Вот, не выручил я жида, осирочил жиденят, — подумал он про себя. — А теперь что-то такое затеваю со вдовиной дочкой...»

— Эй, хорошо ли оно у нас будет? — спросил он Харька.
— Чем плохо? Оно, правда, есть и такие люди, что меду не едят. Может, вы из таких...
— Не из таких я, а все-таки... Ну, прощай!
— Прощайте и вы.

Мельник пошел с пригорка, а Харько опять посвистал ему вслед. Посвистал хоть и не так обидно, как тот раз, а все-таки мельника задело за живое.

— А ты что свищешь, вражий сын? — сказал он, обернувшись.

— Вот уж и посвистать нельзя стало человеку! — обиделся Харько. — Я у капитана в денщиках жил, и то свистал, а у вас нельзя.

«Правда, — подумал мельник, — отчего бы ему и не свистать. А только зачем это все так делается, как в тот вечер?..»

Он пошел с пригорка, а Харько все-таки посвистал еще, хоть и тише... Пошел мельник мимо вишневых садов. глядь — опять будто две больших птицы порхнули в траве, и опять в тени белеет высокая смушковая шапка да девичья шитая сорочка, и кто-то чмокает так, что в кустах отдается... Тьфу ты пропасть! Не стал уж тут мельник и усовещивать проклятого парня, — боялся, что тот ему ответит как раз по-прошлогоднему... И подошел наш Филипп тихими шагами к вдовиному перелазу.

Вот и хатка горит под месяцем, и оконце жмурится, и высокий тополь купается себе в месячном свете... Мельник постоял у перелаза, почесался под шапкой и опять занес ногу через тын.

— Стук-стук!

«Ох, и будет опять буча, как тот раз, а то и похуже, — подумал про себя мельник. — Проклятый Харько своими проклятыми словами так мне все хорошо расписал... А теперь, как станешь вспоминать, оно и не того... и не выходит в тех словах настоящего толку. Ну, что будет, то и будет!» — и он брякнул опять.

Вот в оконце промелькнуло белое лицо и черные очи.

— Мамо моя, мамонько, — зашептала Галя. — А это же опять проклятуший мельник под оконцем стоит да по стеклу брякаеч.

«Эх, не выскочит на этот раз, не обоймет, не поцелует хоть ошибкой, как тогда!..» — подумал про себя мельник и таки угадал: вышла девка тихонько из хаты и стала себе поодаль, сложив руки под белою грудью.

— А чего ты опять стучишь?

Хотелось мельнику охватить девичий стан да показать ей сейчас, зачем стучал, и даже, правду сказать, уже пододвинулся он бочком к Гале, да вспомнил, что еще надо Харьковы слова высказать, и говорит:

— А что мне и не стучать, когда вы мне столько задолжали, что никогда и не выплатитесь? Того и хата ваша не стоит.

— А когда знаешь, что никогда не выплатим, то незачем и стучать по ночам, безбожный человек! Старую мать у меня в могилу гонишь.

— А какой ее бес, Галю, в могилу гонит? Если бы ты только захотела, я бы твоей матери старость успокоил!

— Брешешь все!

— Нет, не брешу! Ой, Галю, Галю, не могу я так жить, чтобы с тобой не любиться!..

— Бреши, как собака на ветер... А кто задумал к Макогону сватов засылать?

— Да уж думал или нет, а я тебе щирую правду говорю, хоть прикажи побожиться: сохну без тебя... А как теперь будет у нас, я тебе сейчас по порядку расскажу, а ты, если ты умная девка, послушаешься меня. Да только смотри, уговор: слушай ты меня ухом, да отвечай языком, а руками чтобы ни-ни! А то я рассержусь.

— Чудно что-то ты принимаешься, — сказала Галя, сложивши руки. — Ну, я послушаю, а только смотри, если ты опять дурницу понесешь, тогда и не проси ты своего бога...

— Э, не дурницу... Вот видишь ты... как это Харько начинал?..

— Харько? А что тут между нами Харьку еще начинать?

— Э, помолчи, а то я не скажу ничего хорошего... Отвечай: ты меня любила?

— Ну, стала бы я такую скверную харю целовать, когда б не любила?..

— А я кто тогда был: подсыпка или нет?

— А подсыпка. Дал бы бог, чтоб и никогда не был мельником.

— Тю! не говори лишних слов, а то я собьюсь... Выходит так, что ты любила подсыпку, так, значит, и судьба тебе выйти замуж за подсыпку и жить на мельнице. А как я тебя прежде любил, так и после буду любить, хоть бы сватался к десяти Мотрям.

Галя даже глаза себе протерла, — не снится ли ей сон.

— А что это ты такое несешь, человеке? Или я вовсе дура, или у тебя в голове одной клепки нехватает. Как же это я пойду за подсыпку, когда ты теперь мельник? И как ты на мне женишься, когда сватов пошлешь к Мотре, а?.. Что ты это несешь, человеке, перекрестись ты левою рукой.

— Вот еще! — сказал мельник. — Разве же у меня на мельнице нет подсыпки? А Гаврило... чем тебе не подсыпка? Что маленько дурень, это правда, так нам это, Галечко, еще лучше, я тебе по правде скажу.

Тут только девка разобрала, куда мельник клонит хитрую речь. Всплеснула руками да как заголосит:

— Ой, мамо, мамонько, что он тут говорит! Да это ж он, видно, в турки хочет записаться да двух жен завести. Тащи ты, мамо, кочергу из хаты, а я покамест своими руками с ним расправлюсь...

Да на мельника! А мельник от нее. Отбежал до перелаза, стал на нем ногой и говорит:

— А, так-то ты, гадюка! Так выбирайтесь обе с матерью из хаты. Завтра отберу за долги. Геть! А она ему.

— Выбирайся и ты, турка, сейчас из моего сада, пока он мой. А то как вцеплюсь вот сейчас ногтями, то и Мотря твоя не узнает, где у тебя что было! .

Вот и говори с нею! Плюнул мельник, скорехонько соскочил с тына и пошел из села сердитый. Вышел на гребень горы, откуда уже слышно было, как вода в потоках шумит, так еще обернулся и погрозился кулаком...

А в это время как раз: день, день...

Опять зазвонили на селе, на звоннице, самую полночь...

Х

Мельник подошел к своей мельнице, а мельница вся в росе, и месяц светит, и лес стоит и сверкает, и бугай, проклятая птица, бухает в очеретах, не спит, будто поджидает кого, будто кого выкликает из омота...

Жутко стало мельнику Филиппу.

— Эй, Гаврило! — крикнул он на мельницу.

— У-У, У-У, — отозвался с болота бугай, а на мельнице никто ни чи-чирк.

«Э, проклятый парубок! опять помандровал к девкам...» — подумал мельник, и не хотелось что-то ему идти в пустую мельницу. Хоть и привык, а все-таки вспоминалось иной раз, что под мельничным полом, промежду сваями, не одни рыбы да ужи плавают в темной воде...

Он оглянулся к городу. Тихо, светло, туман чуть-чуть закурился над речкой, что уплывает себе за лес, и не видно ее в светлой мгле... А на небе ни облачка...

Назад посмотрел и опять удивился, откуда в его запруде столько глубины: и для месяца, и для звезд, и для всего синего неба...

Глядь, а в воде по-над звездами будто комарик летит... Пригляделся, — вырос комарик как муха, потом стал как воробей, как ворона, а вот уж как здоровый шуляк.

— Цур тобі, пек тобі

[10]

, — сказал мельник и, подняв глаза, увидел, что это не в воде, а по воздуху летит что-то прямо к мельнице.

— А бей тебя сила господня! Это, видно, опять Хапун в город поспешает за добычей. Видишь ты, собачья вера, как заленился на этот раз: полночь пробило, а он еще только в дорогу собрался...

Он стоял так, с задранною головой, а по воздуху уже, как орел, летело, кружась, облако и опускалось книзу; а из того облака что-то жужжало так, как в хорошем пчелином рою, когда рой вылетит из пасеки поверх сада...

— А, опять у меня на плотине отдыхать задумал? Видишь ты, какую себе моду завел. Погоди, поставлю на тот год «фигуру» (крест), так небойсь, не станешь по дороге, как в заезжий дом, на мою плотину заезжать... Э, а что ж это он так шумит, как змеек с трещоткой, что ребята запускают в городе? Надо, видно, опять за явором притаиться да посмотреть.

Не успел отбежать к яворам, поглядел кверху и чуть не крикнул от страха... Видит — гость уже близко над мельничною крышей, да еще в руках держит... Вот ни за что и не угадаете, что такое принес чертяка в когтях.

Жида Янкеля! Да, того самого Янкеля, которого год назад утащил, теперь приволок обратно. Держит Янкеля крепко за спину, а Янкель держит в руках большущий узел, завязанный в простыне, и оба ругаются в воздухе, да так быстро, будто десять жидов заспорили на базаре из-за одного мужика...

Камнем упал чорт на плотину. Если бы не мягкий узел, то, пожалуй, Янкелю не собрать бы и костей. Потом оба сразу вскочили на ноги и давай опять галдеть.

— Ой, ой!.. И что это за свинство, — закричал Янкель, — не можете вы полегче на землю спуститься!.. Я думаю, у вас в руках живой человек.

— Человек да еще узел, чтоб вам обоим провалиться сквозь землю!..

— Пхе! Чем вам мешает мой узелок? Я его сам держу, вас не заставляю...

— Узелок! Целая гора всяких бе'бехов. Насилу дотащил, у-ух! На это и уговора не было...

— Ну, а где это видно, чтобы человек ехал в дорогу без вещей?.. Везете человека, везите и вещи, это уж и без всякого уговора можно понимать... Разве можно хозяину свое добро бросить?.. Вы, я давно вижу, хотите обмануть бедного Янкеля, так и придираетесь...

— А!.. Кто тебя, лисицу, обманет, тот и трех дней не проживет. Я уж не рад, что и связался...

— Вы думаете, я очень рад, что познакомился и-с-вами? Ой-вай, важный пуриц!..

[11]

А вы лучше скажите мне, какой у нас уговор был. Ну, вы, может, забыли, так я вам припомню: мы бились об заклад. Может, вы скажете: мы не бились об заклад? Вот это будет хорошее дело, если вы отречетесь!

— Кто тебе говорит, что не бились? Разве я тебе сказал, что не бились?

— Ну, как же вам и сказать, что не бились, когда мы бились вот здесь, на этом самом месте.

Может, вы не помните, о чем, так я сейчас припомню. Вы говорите: жиды берут проценты, жиды спаивают народ, жиды жалеют своих, а чужих не жалеют... Ну, может, вы этого не говорили, а я, может, вам не ответил на это: вот тут стоит мельник за явором. Если б он жалел жида, то крикнул бы вам:

«Господин чорт, кидайте, — у него жена, дети». Но он не крикнет... Раз!

«Вот как угадал, подлый!» — подумал про себя мельник, а чорт сказал:

— Ну, раз!

— А еще я говорю, помните мое слово: как меня здесь не станет, мельник откроет шинок и станет разбавлять водку, а проценты он и теперь дерет как следует... Два!

— Ну, два, — подтвердил чорт, а мельник поскреб в голове: «Как это он все мог угадать, проклятый?»

— А еще я говорю: нам чужие желают, чтоб нас черти взяли, это правда... А как вы думаете, если б здесь сейчас были наши жидки да увидели, что вы со мной хотите делать, — какой бы они тут гевалт подняли, а? А об мельнике через год, кого ни спросите, свои братья скажут: а пусть его чорт унесет... Три!

— Ну, три!.. я и не отрекаюсь.

— Вот это хороший интерес был бы, если б вы еще отрекались. Какой бы вы были после этого честный еврейский чорт? А вы лучше скажите, какой уговор?

— Я все исполнил: оставил тебя на год живым — раз. Понес сюда — два...

— А три? Что же будет три?

— Чего еще? Выиграешь заклад, — отпущу тебя на все четыре стороны.

— А убытки?.. Разве вы не должны вернуть мне убытки?..

— Убытки? Какие ж у тебя могут быть убытки, когда мы тебе дали торговать у нас без всяких патентов целый год?.. Ну, что? Такой барыш на земле в три года не возьмешь... Смотри сам: я тебя захватил отсюда в одном лапсердаке, даже без патынков, а сюда какой ты узел приволок, а? Откуда же он взялся, если у тебя все были убытки?

— Ой-вай! Опять узлом попрекаете!.. Что я себе там торговал, это мое счастье... Разве вы считали мой барыш? А я вам скажу по правде, что я от вашей торговли взял чистый убыток, а тут, на земле, год потерял.

— Ах ты, ширлатан! — крикнул чорт.

— Я ширлатан? Нет, это вы сами ширлатан, шейгиц, лайдак, паршивец!..

Тут они опять заспорили так шибко, что уже нельзя было разобрать ни слова. Оба махали руками, оба трясли ермолками и поднимались на цыпочки, как два петуха, готовые сцепиться. Наконец чорт спохватился первый:

— А! Еще не известно, кто выиграл! Что мельник тебя не пожалел, это правда, а остальное еще посмотрим, еще надо у людей спросить, может он и не думал открыть шинок.

«Два открыл! — почесался опять мельник. — Э, надо было хоть годик обождать, — остался бы Янкель в дураках, а то тут что-то такое неладное выходит...»

И он оглянулся на свою мельницу: нельзя ли тихонько, по-за мельницей, махнуть на село? Но в это время в лесу, за плотиной, послышались чьи-то неровные шаги и бормотанье. Янкель схватил на плечи свой узел и бегом побежал к тем же яворам. Мельник едва успел спрятаться за толстую ветлу, как оба — и чорт, и Янкель — были уже тут, а в это время в конце плотины показался подсыпка Гаврило. Свитка на Гавриле драная, с одного плеча спущена, шапка набок, а босые ноги все одна с другой спорят: одной хочется направо, а другая, назло, налево норовит. Одна опять в свою сторону потянет, а другая так бедного подсыпку к себе кинет, что вот-вот голова в одно место улетит, а спина с ногами в другое. Так вот и идет бедный парубок, выписывая по всей плотине узоры, от одного края до другого, а вперед что-то мало подвигается. Видит чертяка, что подсыпка совсем пьян, вышел себе да и стал посредине плотины в своем собственном виде. Известно, с пьяными людьми какая церемония!

— Здравствуйте, — говорит, — добрый человек! А где это вы так намалевались?..

Тут только мельник в первый раз заметил, какой Гаврило стал за год оборванный и несчастный. А все оттого, что у хозяина заработает, у хозяина и пропьет; денег от мельника давно уже не видал, а все забирал водкой. Подошел подсыпка вплоть к самому чорту, уперся сразу обеими ногами в гать и сказал:

— Тпру-у-у... Вот бесовые ноги, с норовом каким! Когда надо, не идут, а как увидели, что у человека перед самым носом торчит что-то, тут они и прут себе вперед. А ты это что такое, я что-то не разберу никак...

— Я себе, с позволения вашего, чорт...

— Ну-у? Бреешься, я думаю. Э!.. А пожалуй, твоя правда. И рога, и хвост, все как следует. А пейсы по бокам морды зачем?

— Да я себе, не в обиду вам сказать, жидовский чорт.

— А!.. Вот видишь ты, какая оказия!.. Так это не ты ли в прошлом годе нашего Янкеля уволок?

— Ну, ну! Я самый.

— А теперь же кого? Меня, что ли? То я и закричу, ей-богу закричу... Ты еще не знаешь, какая у меня глотка.

— Э, не кричи напрасно, добрый человек. На что ты мне сдался?..

— Может, мельника? Позвать тебе, так я и позову. Э, нет, постой! А кто ж у нас шинковать станет?

— А у него разве есть шинок? — У него?.. Нет, у него два; один на селе, а другой при дороге...

— Ха-ха-ха! Не оттого ли тебе мельника и жалко?

— Ой! Как ты смеешься здорово... Ха! Не такой я человек, чтобы его пожалеть!.. Нет, не так я сказал!.. Это он не такой человек, чтоб я его пожалел. Он думает, Гаврилко-дурень... Ну, это-таки правда: я себе не очень умный человек, не взъщите вы с меня. А все-таки когда ем, то в чужой рот каши не кладу, а только в свой. И как оженюсь, то опять для себя же. Правду я говорю или нет?

— Правда оно — правда, ну, а только я не знаю, к чему она клонит.

— Хе, может, тебе не надо знать, то ты и не знаешь, а как мне надо знать, то я и знаю, зачем он меня женить хочет. Ой, знаю я хорошо, даром что я не очень догадливый человек. Вот и тот раз, как вы Янкеля схпали, я об нем пожалел: «Кто ж теперь, — говорю хозяину, — у нас шинковать будет?» А он и говорит: «Гю, дурень! Разве не найдется кому? А хоть бы и я вот!» Так и теперь: возьмете вы себе мельника, — найдется у нас кому жидовать и без него... Ну, а я тебе, добрый человек... тьфу, тьфу, не взъщите, ваша милость! Вот же человеком назвал поганого чорта...

Теперь я тебе вот что скажу: что-то мне того, что-то спать хочется. Ты себе как хочешь... бери его себе сам, а я пойду лягу, вот что, потому что я маленько нездоров. Вот и будет хорошо...

Ага!..

Тут подсыпка опять стал заплетать ногами и насилиу отпер двери, как уже повалился и захрапел. Чорт весело засмеялся и, став на краю плотины, моргнул Янкелю под ясоры:

— А кажется, твоя правда, Янкель. Что-то выходит похоже... Дай, однако, мне какую одежду на подержание... Я заплачу...

Янкель стал смотреть на свет какие-то шаровары, чтобы ошибкой не дать чорту новых, а в это время за рекой, по дороге из лесу, показалась пара волов. Волы сонно качали головами, телега чуть-чуть поскрипывала колесами, а на телеге лежал мужик Опанас Нескорый, без свитки, без шапки и сапогов, и во все горло орал песни.

Добрый был мужик Опанас, да только, бедняга, очень водку любил. Бывало, только снарядится куда выехать, а уж Харько у шинка сторожит и кличет:

— Не выпить ли тебе чарочку, Нескорый? Куда торопиться?

Он и выпьет.

Выедет после того за село, через плотину, а там уж, у другого шиночка, сам мельник кличет:

— А не выпьешь ли чарочку. Нескорый? Куда тебе спешать?

Он и тут выпьет. Глядишь — и вернется домой, никуда не ездивши.

Да, добрый был мужик, но, видно, судьба ему судила пропадать промежду двумя шинками... А все-таки человек был веселый и все, бывало, песни поет. Весь, бывало, пропьется, и баба сердитая дома дожидается, а он как песню или прибаутку сложил, так думает, что горе избыл. Так и теперь: лежит себе в телеге и поет во все горло, что даже лягушки с берега кидаются в воду:

Волы мои крутороги

Идут по дороге...

А меня не носят ноги,

Ой, не носят ноги!

Пропил свитку и чоботья,

И шапку с затылка...

А у мельника в шиночке

Хороша горілка...

— Эй, а какая там бесова тварюка посередь гати стоит, что и волам не пройти? Вот, когда бы не лень было мне сойти с воза, я б тебе показал, как посередь дороги становиться... Цоб, цоб, цоб-бе!

— Пстой на одну минуту, добрый человек, — сказал чорт сладким голосом. Мне бы с тобой потолковать немного...

— Немного? Ну, толкуй, а то некогда. Пожалуй, в Каменке шинок заперли, так и не достучишься... А что ты скажешь, не знаю, как тебя назвать... Ну?

— О ком это ты такую хорошую песню пел?

— Спасибо, что похвалил. Пел я об мельнике, что вот тут на мельнице живет, а что хороша ли песня, или нет, то лучше мне знать, потому что я себе сам пою. Может, кто от той песни скачет, а кто и плачет, вот что... Цоб, цоб, цоб-бе! Да ты все еще стоишь?

— Стою.

— Чего ж ты стоишь?
— В песне твоей говорится, что горелка у мельника хороша?
— Вот ты какой... хитрый! Человек и песню еще до конца не допел, а он уж придрался к слову. Где у беса хороша!.. Ты, видно, не слышал поговорки: вперед батька не лезь в пекло, а то опередишь батька и того... нехорошо будет. Когда так, то я лучше тебе до конца спою:

А у мельника в шиночке

Хороша горілка...

Ой, горілки две бутылки,

И... воды бутылка...

Ну, что, все стоишь? Чего ж тебе, когда так, еще надо? Вот я сейчас вылезу-таки с воза, посмотрю, долго ли ты настоишься вот тут, а?.. Что ты себе подумаешь, если я начну тебя угощать батогами?..

— Сейчас, сейчас уйду, добрый человек. Только скажи еще: а что ты себе подумал бы, когда бы здешнего мельника чорт забрал, как и Янкеля?..

— А что мне думать? — ничего и не подумаю... Таки, сказать по правде, и схапает, когда-нибудь, непременно-таки схапает... Э, да ты, вижу, все стоишь... Ну, вылезая с воза. Гляди, уж и ногу одну поднял...

— Ну, ну! Поезжай себе, когда ты такой сердитый.

— Ушел ты?

— Ушел.

— Цоб, цоб, цоб-бе.

Опять волы закачали рогами, заскрипели ярма и занозы, воз покатился на другой конец гати, а Опаяас запел свою песню:

Волы мои крутороги,

Прибавляйте бегу!

Пропил мельнику колеса,

Пропью и телегу.

Колеса стукнули, сОезжая с гати, и песня Опанаса стала затихать на горе.

Не успела еще стихнуть, как послышалась другая, из-за реки. Так и звенели, так и заливались женские голоса, сначала далеко, а там уже и в лесу. Видно, где-нибудь дожинали девчата с молодыцами, а может, и отаву на дальнем покосе сгребали, а теперь шли себе поздною дорогой и пели, чтобы не страшно было лесом идти.

Чертяка разом шмыгнул к Янкелю под вербы.

— А ну, давай же чего-нибудь поскорее!

Янкель ткнул ему какую-то рвань. Чорт кинул ее на землю и ухватился за узел.

— А! что ты мне даешь, как нищему, что стыдно будет показаться. Давай получше!

Чорт выхватил, что ему было нужно, мигом свернулись у него крылья, мягкие, как у нетопыря, мигом вскочил в широкие, как море, синие штаны, надел все остальное, подтянулся поясом, а рога покрыл смушковой шапкой. Только хвост высунулся поверх голенища и бегал по песку, как змея...

Вот после этого чмокнул, топнул, подбоченился, посунулся навстречу молодежи, — ни взять ни дать какой-нибудь добрый мещанин или подпанок из экономов, — и стал на середине плотины.

А песня все ближе да все звончее, — уже так и веет по-над землей, да под ясным месяцем, что, кажется, весь свет разбудит середь ночи. Да вдруг и оборвалась сразу...

Сыпнули молодежи из лесу, будто кто маков цвет из передника на землю просыпал, — увидели на плотине незнакомого щеголя и сбились в кучу у конца гати.

— А что оно такое вон там стоит? — спросила одна.

— Да это мельник, — говорит другая

— Какой мельник, — и не похоже!

— Может, подсыпка.

— Где у подсыпки такая одежда?..

— А отзовись ты, когда ты что доброе, — крикнула вдова Бучилиха, что, видно, была побойчее других.

Чорт издала поклонился и потом подошел поближе, выкидывая ногами и фигурой выкрутасы, как настоящий подпанок, что хочет казаться паном, и сказал:

— А не бойтесь, ласточки вы мои! Я себе человек молодой, а зла вам не сделаю. Идите себе спокойно...

Молодицы и девки взошли на гать, поталкивая одна другую, и скоро окружили чорта. Э, не всегда-таки приятно, как окружают человека десяток-другой вот таких вострух и начнут-пронизывать быстрыми очами, да поталкивать одна другую локтем, да посмеиваться. Чорта стало-таки немного коробить да крочить, как бересту на огне, уж и не знает, как ступить, как повернуться. А они все пересмеивают.

«Вот так его, так его, мои ласточки, — подумал про себя мельник, глядя из-за корявой ветлы. — Вспомните, галочки мои, как Филиппко с вами, бывало, песни пел да хороводы водил. А теперь вот какая беда: выручайте ж меня, как муху из паутины». Еще, кажется, если бы его так пощипать хоть с минуту, — провалился бы чертяка сквозь землю...

Но старая Бучилиха остановила девчат:

— Цур вам, сороки! Совсем парубка засмеяли, что у него и нос опустился книзу, руки-ноги обвисли... А скажи ты нам, небора'че
[12]
, кого ты над омутом дожидаться?

— Мельника.

— Приятель ему, видно?

«Чтоб таким приятелям моим всем провалиться сквозь землю!» — хотел крикнуть Филипп, да голос не пошел из горла, а чертяка отвечает:

— Не то чтоб большой приятель, а так себе: сосчитаться за старое надо.

— А давно ты его не видал?

— Давненько.

— Ну, так теперь и не узнаешь. Добрый был когда-то парубок, а теперь уж так голову задрал, что и кочергой до носа не достанешь.

— Ну?

— То-то... Не правду я говорю, девоньки?

— А правда, правда, правда! — застрекотала вся стая.

— Тю! тише немножко, — закричал чорт, затыкая уши, — от лучше скажите, что это с ним подеялось и с каких пор?

— Ас тех пор, как богачом стал.

— Да деньги стал раздавать в лихву.

— Да шинок открыл.

— Да мужа моего Опанаса с проклятым Харьком так окрутил, что уж мужику и ходу никуда, кроме кабака, не стало.

— Да и наших мужей и батьков споил всех дочиста.

— Ой, ой, лихо нам с ним, с проклятым мельником! — заголосила какая-то и, вместо недавней песни, пошли над рекой вопли да бабьи причитанья.

Поскреб-таки Филипп свой затылок, слушая, как за него заступаются молодницы. А чорт, видно, совсем оправился. Смотрит искоса да потирает руки.

— Э, это еще что! — звонко перекричала всех вдова Бучилиха. — А слышали вы, что он над Галей над вдовиной задумал?

«Тьфу, — плюнул мельник. — Вот сороки проклятые! О чем их не спрашивают, и то им нужно рассказать... И как только узнали? То дело было сегодня на селе, а они уж на покосе все дочиста знают... Ну и бабы, зачем только их бог на свет божий выпускает?..»

— А что бы такое над вдовиной дочкой мой приятель затеял? — спросил чорт, глядя по сторонам так, как будто это дело ему не очень даже и любопытно.

И пошли тут сороки выкладывать, и выложили одна перед другой все дочиста!

Чорт помотал головой.

— Ай-ай-ай! вот это так уж нехорошо! Этого уж, я думаю, никто и от прежнего шинкаря Янкеля не видал.

— О, да где же такое жиду придумать?

— Вот еще!

— Вот, вижу я, мои кралечки, мои зозуленьки, не очень-то вы моего приятеля любите...

— А пускай же его все черти полюбят, а от нас не дождется...

— Ой-ой-ой! Вот, видно, не много вы ему добра желаете...

— Пускай его потрясет тряся (лихорадка)!

— Пускай лезет в омут за дядьком!

— Э, пусть и его чертяка схапает, как того Янкеля!.. Все засмеялись.

— А правда твоя, Олено, потому, что он хуже жиды.

— Жид по крайней мере не ласовал, оставлял хоть девчат в покое, знал свою Сурку. Чорт даже подпрыгнул на месте.

— Ну, спасибо вам, ласточки мои, за ваше приветливое слово... А не пора ли вам уже идти дальше?

А сам откинул голову, как петух, что хочет закричать на заре погромче, и захохотал, не выдержал. Да загрохотал опять так, что даже вся нечистая сила проснулась на дне речки и пошли над омутом круги. А девки от того смеха шархнулись так, как стая воробьев, когда в них кинут камнем: будто ветром их сдуло сразу с плотины...

Пошли у мельника по шкуре мурашки, и взглянул он на дорогу к селу: «А как бы это, — думает себе, — приударить и мне хорошенько за девками. Когда-то бегал не хуже людей». Да вдруг и отлегло у него от сердца, потому что, видит, опять идет к мельничной гати человек да еще не кто-нибудь, а самый его наймит — Харько.

«Вот, кусни-ка этого, — подумал он про себя, — авось, зубы обломаешь. Это мой человек».

XI

Наймит шел босиком, в красной кумачной рубашке, с фуражкой, без козырька, на затылке, и нес на палке новенькие Опанасовы сапоги, от которых так и разило дегтем по всей плотине. — «Вот какой скорый! — подумал мельник, уж и взял себе чоботы... Ну, да ничего это. На этого человека я крепко теперь надеюсь».

Увидев на середине плотины незнакомого человека, наймит подумал, что это какой-нибудь волочуга-грабитель хочет отнять у него сапоги. Поэтому он остановился в нескольких шагах от Хапуна и сказал:

— Вот что: лучше и не подходи, — не отдам!

— Что ты, спохватись, добрый человек! Разве я сам без сапог? Погляди: еще лучше твоих.

— Так что же ты тут вырос ночью, как корявая верба над омутом?

— А я, видишь ли, хочу тебе задать один вопрос.
— Чудно! Загадку, что ли? Кто же тебе сказал, что я всякую загадку лучше всех разгадаю?
— Слыхал-таки от людей.
Солдат поставил сапоги наземь и, вынув кисет, стал набивать себе трубочку. Потом выкресал из кремня огоньку и, раскуривая под носом густое курево, сказал:
— Ну, теперь вываливай: какие там у тебя загадки?
— Да не то чтобы загадки, а так... Кто здесь, по-твоему, самый лучший человек?
— Я!
— Э, почему так?.. Нет ли кого получше?
— Да ты спрашиваешь: как по-моему?.. Ну, так я сам себя ни за кого не отдам.
— Правда твоя. А мельник... какой человек?
— Мельник?
Солдат выпустил изо рта такой клуб дыма, как белый конский хвост на месячном свете, и искоса поглядел на чорта.
— А вы не из акцизу?
— Нет.
— Может, не при полиции ли где служите... по какой тайности?
— Да нет же!.. Такой умник, а не умеет отличить простого человека от непростого.
— Кто это тебе сказал?.. Да я у тебя в костях и то все вижу... А что спросил, так это так себе, на всякий случай. Так ты говоришь: какой человек мельник?
— Эге!
— Так себе человек: не высокий, не низкий... из небольших середний.
— Э, не то ты говоришь!..
— Не то? А что бы такое еще тебе сказать?.. Может, хочешь знать, где у него бородавка?
— Ты, я вижу, любишь морочить, а мне некогда. Скажи попросту: хороший мельник человек или плохой?
Солдат опять пустил изо рта целый хвост дыма и сказал:
— А ты-таки скорый человек, любишь кушать, не разжевавши.
Чорт вылупил глаза, а у мельника от радости запрыгало сердце.
«Вот язык, так язык, — подумал он. — Сколько раз я желал, чтобы он у него отсох, а он вот и пригодился, — смотрите, как чертяку отбреет!..»
— Любишь кушать не разжевавши, я тебе говорю! — строго повторил солдат. Так тебе и скажи: хороший человек или нет? Для меня, вот, всякий человек хорош. Я, брат, из всякой печи хлеб едал. Где бы тебе подавиться, а я и не поперхнусь!.. Э, что ты себе думаешь: на дурака напал, что ли?
«Вот так, вот-таки так его, — сказал про себя мельник и даже подпрыгнул от радости. — Я не я буду, когда у него чорт через полчаса не станет глупее овцы! Я на крылосе читаю, что никто слова не поймет... так оттого, что скоро. А он вот и тихо говорит, а подя — пойми, что сказал...»
Действительно, бедный чорт заскреб в голове так сильно, что мало не стянул шапки.
— Пстой-ка, служба, — сказал он. — Что-то, видится, мы с вами едем-едем, да не доедем. Не в тот переулочок завернули...
— Не знаю, как ты, а я из всякого переулочка выеду. — Да ведь я у вас спрашиваю: хороший мельник человек или нет, а вы куда меня завезли?
— А дай же я у тебя спрошу; вода хороша или нет?
— Вода?.. А чем же плоха?
— А когда есть квас, тогда от воды отвернешься, — нехороша?
— Пожалуй, нехороша.
— А когда стоит на столе пиво, так тебе и квасу не надо?
— Вот и это правда.
— А поднеси чарочку горелки, и на пиво не поглядишь?
— Так-то оно так...
— Вот то-то и оно-то!
Чорта ударило в пот, и из-под свитки хвост у него так и забегал по земле, даже пыль поднялась на плотине. А солдат уже вскинул палку с сапогами на плечи, чтоб идти далее, да в это время чертяка догадался, чем его взять. Отошел себе шага на три и говорит:

— Ну, идите, когда так, своею дорогой. А я тут обожду: не пойдет ли, случаем, солдат Харитон Трегубенко. Солдат остановился.

— А тебе на что его?

— Да так!.. Говорили, солдат Трегубенко — умный человек: может ввести и вывести. Я и подумал, не вы ли это сами будете. А вижу, нет! С вами путаетесь кругом, а на дорогу никак не выедешь...

Солдат поставил сапоги наземь.

— А ну, спроси у меня еще.

— Э, что тут и спрашивать!

— А ты попробуй.

— Ну, вот что. Скажи мне: кто был лучше — Янкель-шинкарь или мельник?

— Вот так бы и говорил сразу, а то не люблю таких людей, что подле самого мосту ищут броду. Иному человеку лучше десять верст исколесить проселками, чем одну версту прямую дорогой. Вот и я тебе сейчас все толком, по пунктам, как говорится, скажу: у Янкеля был шинок, а у мельника — два.

«Э, что-то уж и не так заговорил, — подумал с горестью мельник. Пожалуй, об этом лучше бы и не заговаривать...»

А солдат говорит дальше:

— У Янкеля я ходил в лаптях, а тут у меня и сапоги выросли...

— А откуда они выросли?

— Хе, откуда!.. В нашем деле все так, как в колодце с двумя ведрами: одно полнеет, другое пустеет, — одно идет кверху, другое книзу. У меня были лапти, стали сапоги. А погляди ты на Онанаса Нескорого: был в сапогах, теперь стал босой, потому что дурень. А к умному ведро приходит полное, уходит пустое... Понял?

Чорт слушал внимательно и сказал:

— Постой! Кажется, подОезжаем помаленьку, как раз куда надо.

— То-то! Я про то и сразу тебе говорил! Назови ты мне Янкеля хоть квасом, так мельник будет пиво, а если б ты подал мне доброго вина, то я бы и от пива отступился...

У чорта кончик хвоста так резво забегал по плотине, что даже Харько заметил. Он выпустил клуб дыму прямо чорту в лицо и будто нечаянно прищемил хвост ногою. Чорт подпрыгнул и завизжал, как здоровая собака: оба испугались, у обоих раскрылись глаза, и оба стояли с полминуты, глядя друг на друга и не говоря ни одного слова.

Наконец Харько посвистал по-своему и сказал:

— Эге-ге-ге-е! Вот штука, так штука...

— А вы как думали? — ответил чорт.

— Вот вы какая птица!

— А вот, как меня видите...

— Так это вы, значит, того... в прошлом годе?..

— Ага!

— А теперь... за ним?

— Ну, ну... Что скажете?

Харько затянулся, пыхнул дымом и ответил:

— Бери! Не заплачу... Я человек бедный, мое дело — сторона. Сяду себе с люлькой у шинка, буду третьего дожидаться.

Чорт опять захохотал, а солдат закинул сапоги на спину и пошел скорым шагом. А как проходил мимо купы яворов, то мельник слышал, что он бормочет:

— Вот оно что: одного унес, за другим прилетел... Ну, моя хата с краю!.. Засватал чорт жида, — мельнику досталось приданое; теперь сватает мельника, а приданое — мне. Солдат кому ни служит, ни о ком не тужит. Выручка на руках, пожалуй, можно и самому за дело приняться. Не станет теперь Харька Трегубенка, а будет Харитон Иванович Трегубов. Только уж я не дурак: ночью на плотину меня никакими коврижками не заманишь...

И стал подыматься на гору.

Оглянулся мельник кругом: а кто ж ему теперь поможет? — нет никого. Дорога потемнела, на болоте заквакала сонная лягушка, в очеретах бухнул сердито бугай... А месяц только краем ока выглядывает из-за леса; «А что теперь будет с мельником Филиппом?..»

Глянул, моргнул и ушел себе за леса...

А на плотине чорт стоит, за бока держится, хохочет. Дрожит от того хохота старая мельница, так что из щелей мучная пыль пылит, в лесу всякая лесная нежить, а в воде водяная — проснулись, забегали, показывается кто тенью из лесу, кто неясною марой на воде; заходил и омут, закурился-задымился белым туманом, и пошли по нем круги. Глянул мельник — и обмер: из-под воды смотрит на пего синее лицо с тусклыми, неподвижными глазами и только длинные усы шевелятся, как у водяного таракана. Точь-в-точь дядько Омелько выплывает из омута прямо к яворам...

Жид Янкель давно уже пробрался тихонько на плотину, подняв одежду, которую скинул с себя чорт, и, шмыгнув под яворы, наскоро завязал узел. Не говорит уже ничего об убытках; да скажу вам, тут на всякого человека напала бы робость. Какие уже тут убытки!.. Вскинул узел на плечи и тихонько зашлепал себе по тропинке за мельницей в гору, за другими...

Пустился и мельник на свою мельницу, — хоть запереться да разбудить подсыпку. Только вышел из-под яворов, а чорт — к нему. Филипп от него, да за дверь, да в каморку, да поскорее засвечать огни, чтобы не так было страшно, да упал на пол и давай голосить во весь голос, — подумайте вот! — совсем так, как жида в своей школе...

А тот уж летает-вьется над крышей, да в оконце свою любопытную харю сует, да крылом бьет в стекло, — не знает, куда пробраться, чтобы захватить себе лакомый кусок...

Вдруг — шашть... Хлопнулось что-то об пол, будто здоровенная кошка упала. Это проклятый в трубу влетел, ударился, подскочил... И слышит мельник — сидит уже на спине и запускает когти.

Ничего не поделаешь!..

Шашть опять... потемнело в глазах, поволок мельника по темному да тесному месту; посыпалась глина, сажа поднялась тучей и вдруг... Вот уже труба внизу вместе с мельничною крышей, которая становится все меньше и меньше, будто и мельница, и плотина, и яворы, и омут падают куда-то в пропасть... А в тихой мельничной запруде, что лежит внизу гладкая, точно на тарелке, виднеется опрокинутое небо, и звезды мигают себе тихонечко, вот как всегда... И еще видит мельник: в той синей глубине, перекрывая звезды, летит будто шуляк, потом будто ворона, потом будто воробей, а вот уж как большая муха...

"А это ж он меня выволоч так высоко, — подумал мельник. — Вот тебе, Филиппко, и доход, и богатство, и шинки, и роскошь. А нет ли там где крещеной души, чтобы крикнула: «Кинь, это мое!»

Нет никого! Прямо под ним спит себе мельница, и только из омута огромная усатая рожа утопшего дядьки Омелька глядит стеклянными глазами и тихо смеется, и моргает усом...

Дальше на гору подымается жид, сгорбившись под тяжелым белым узлом. В половине горы Харько стоит и, покрыв ладонью глаза, смотрит в небо. Э, не подумает он выручать хозяина, потому что вся выручка от шинка остается на его долю.

Вот рассеянная стайка девчат обогнала уже Опанаса Нескорого с его волами. Девчата летят, как сумасшедшие, а Нескорый хоть и глядит прямо в небо, лежа на возу, и хоть душа у него добрая, но глаза его темны от водки, а язык как колода... Некому, некому крикнуть: «Кинь, это мое!»

А вот и село. Вот запертый шинок, спящие хаты, садочки; вот и высокие тополи, и маленькая вдовина избушка. Сидят на завалинке старая Прися с дочкой и плачут обнявшись... А что ж они плачут? Не оттого ли, что завтра их мельник прогонит из родной хаты?

Сжалось у мельника сердце. Э, пусть хоть эти не поминают меня лихом! Собрался с духом и крикнул:

— А не плачь, Галю, не плачь, небо'го! Уж прощаю вам все долги с процентами... Ой лихо мне, хуже вашего: волочет меня нечистый, как паук маленькую мушку...

Видно, чутко девичье сердце... Где бы, кажется, услышать на таком дальнем расстоянии, а Галя все-таки дрогнула и подняла кверху черные, заплаканные очи.

— Прощайте вы, карие оченята, — вздыхает мельник да вдруг видит: схватилась девушка руками за грудь, да как наберет воздуху, да как крикнет:

— Кинь, проклятая чертяка! Кинь, это мое! Точно цепом, с большого размаху, резнуло чорта по ушам: встрепенулся, распустились когти, и понесся Филипп книзу, как перышко, поворачиваясь с боку на бок.

Летит, а чертяка, как камень, за ним. Только долетит и придержит мельника, а Галя опять:

— Кинь, проклятый, — мое!

Он и отпустит, а мельник опять полетит, да так до трех раз, а уже внизу и багно (болото), что между селом и мельницей, расстилается все шире да шире.

Тар-рах! Ударился мельник в мягкое багно со всего размаха, так что мочага вся колыхнулась, будто на пружинах, да снова мельника сажени на две кверху и подкинула. Упал опять, схватился на ровные ноги, да бегом л+-том, да через спящего подсыпку, да чуть не вышиб с петлями дверей — и ну под гору во все лопатки чесать босиком... Сам бежит к только вскрикивает, — все ему кажется, вот-вот чертяка на него налетит.

Добежал до крайней избы, да через тын л+-том, да в двери, да стал середь вдовиной избы и тут только опомнился:

— А вот я и у вас, слава богу!

ХП

Вот вы подумайте себе, добрые люди, какую штуку устроил: рано поутру, еще и солнце только что думает всходить и коров еще не выгоняли, а он без шапки, простоволосый, да без сапогов, босой, да весь расхристаный ввалился в избу ко вдове с молодой дочкой! Э, что там еще без шапки: слава богу, что хоть чего другого не потерял по дороге, тогда бы уж навеки бедных баб осрамил!.. Да еще и говорит: «А слава ж богу! Вот я и у вас».

Старуха только руками всплеснула. А Галя соскочила в одной сорочке с лавки да поскорее запаску на себя, да плахту, да к мельнику:

— Ты что это, злодей, делаешь? Опился, что ли, — своей хаты не нашел, в нашу вот такой ввалился, а?

А мельник стоит против нее, глядит приятно, хоть и выпучивши маленько глаза, и говорит: «Ну, бей себе, сколько хочешь». Она его — раз!

— Бей еще! Она его и два.

— Вот так. Может, еще дашь?

Она и три. Да тут видит, что ему ничем-ничего, стоит себе и глядит на нее приятным оком, всплеснула руками и заплакала.

— Ой, лихо мне, бедной сиротинке, кто за меня заступится!.. Ой, и что ж это за человек такой! Мало ему, что обманул меня, молодую, что в турецкую веру хотел сманить, так еще и славу на меня, сироту, навел, на все село осрамил. А теперь вот поглядите на него, добрые люди: я его уж три раза ударила, а он хоть бы повернулся. Ой, и что ж мне еще с таким человеком делать, научите меня! Я ж и не знаю уже...

А мельник спрашивает:

— Ну, будешь еще бить или нет, говори прямо? Не будешь, так я уж и на лавку сяду, — устал. У Гали опять было заходили руки, да старуха догадалась первая, что тут дело что-то не очень простое, и говорит дочери:

— Погоди ты, дочка! Что ты, ничего хорошенько не спросивши, так прямо ладонями и плещешь по чужой щеке. Не видишь разве, парубок что-то с глузду сОехал (помешался). А скажи, небора'че, откуда ты такой сюда ввалился, да еще говоришь: «Слава богу, вот я и у вас!»

— когда тебе тут не надо и быть...

Мельник протер глаза и говорит:

— Вот, скажите вы мне, тетушка, по совести: что я сплю или я по свету хожу? А со вчерашнего вечера прошла одна ночь или целый год, да я ж теперь к вам со своей мельницы или с неба свалился?

— Тю! перекрестись ты, человече, левою рукой! И что ты это такое несешь языком, а? Видно, тебе приснилось.

— Не знаю, пани-матко, не знаю, сам уж ничего не знаю... Сел было на лавку у окна, глядь — за окном, мимо хаты, по холодочку плетется шинкарь Янкель с огромным узлом на спине.

Мельник вскочил на ровные ноги, показывает бабам в окно и говорит:

— Это кто идет, а?

— Да это же наш Янкель.

— А что он несет?

— Узел из городу.

— Так как же вы говорите, что мне приснилось? Да ведь вот и жид воротился. Я его сейчас видел у мельницы, с этим самым узлом.

— А почему же бы ему и не воротиться?

— Да ведь его в том году чорт уволок — Хапун. Ну, одним словом сказать, было тут много дива, как стал мельник рассказывать все, что с ним случилось. А между тем против хаты, на улице, уже и народ начал набираться, да заглядывать в окна, да судачить:

— Вот, — говорят, — это штука, так уж штука: мельник простоволосый да расхристанный, без сапогов и без шапки через поле прямо к вдове придрал и сидит теперь в хате.

— Эй, скажи ты нам, добрый человек, а к кому ты это такой нарядный бегаешь: к старой Присе или, может, к молоденькой Гале?..

Ну, тут, я думаю, сами вы уж догадались, что такую славу на бедную девушку навести напрасно нельзя. Пришлось мельнику жениться. Да и сам Филипп признавался мне не один раз, что Галю вдовину всегда любил, а после той ночи, как побывал в когтях у нечистой силы, да Галя его вызволила, — такая она ему стала приятная, что уж его бы никто и палкой от нее не мог отогнать.

Живут теперь на мельнице и уж детвору навели. А о шинке мельник больше не думал и процентов не брал. И когда, бывало, при нем станет кто толковать, чтобы спровадить жида Янкеля к чертовой матери из села, он только рукой махнет.

— А шинок, — спрашивает у такого человека, — как вы думаете, останется?

— А шинок останется, — куда ж его девать.

— А кто ж в нем сидеть будет?.. Может, часом, вы не сядете ли?

— А что ж, пожалуй, и я бы сел... Так он, бывало, только свистнет.

ХIII

Да, так вот какая история случилась с мельником, — такая история, что и до сих пор никак не разберешь: было это все или этого вовсе-таки не было. Если сказать — брехня, так не такой мельник человек, чтобы брехать. Да и подсыпка Гаврило тоже еще живет на мельнице, и хоть сам признается, что здорово был пьян в эту ночь, а все-таки помнит хорошо, как мельник ему сам двери отворил, и еще Гаврило заметил, что у хозяина лицо блее муки. И Янкель пришел на заре, и Опанас приехал домой босой и пьяный... Значит, и присниться все это мельнику — не приснилось.

Ну, а опять же и то взять: как же оно могло быть, когда для всего этого нужно целый год, а мельник на другое утро уже к Гале прибежал босиком...

Э, лучше уж, я думаю, и не разбирать этого дела. Было оно там или не было, а только вот что я вам от себя уже скажу: может, есть у вас где-нибудь знакомый мельник или хоть не мельник, да такой человек, у которого два шинка... Да еще, может, жидов ругает, а сам обдирает людей, как липку, — так прочитайте вы тому своему знакомому вот этот рассказ. Уж я вам поручусь, дело пробованное, бросить он, может, своего дела не бросит, — ну, а вам чарку водки поднесет и хоть на этот раз водой ее не разбавит.

Ну, а есть и такие люди (это тоже дело виданное), что как выслушают эту историю, так и начнут лаяться на тебя, как собаки. Так я таким скажу вот что: лаяться себе, сколько охота, а только я вам посоветую по правде, берегитесь, как бы не случилось чего с вами, как с мельником.

Потому что, видите ли, ново-каменские люди не раз после того видели того самого чертяку: с тех пор как попробовал мельника, уже не хочет вернуться к себе без хорошей добычи... Летает, как отставшая птица, и все высматривает...

Так вот, добрые люди, берегитесь вы немного, как бы не случилось с вами чего недоброго...

А пока что прощайте! Если рассказалось что не так, как бы вам хотелось, не взыщите с меня, простого человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

Рассказ написан в 1890 году. На черновой рукописи имеются пометки Короленко о начале работы — «17 декабря 1890 г. с вечера» и об окончании ее — «31 декабря — 1 января. Канун нового года». Первоначальное заглавие рассказа «Жид, чорт и мельник» с подзаголовком «Может быть, а может и небывальщина» зачеркнуто и надписано: «Иом-Кипур или Судный день». Впервые напечатан рассказ в 1891 году в «Русских ведомостях» NN 43, 47, 48, 58, 61, 69, 77 По своему содержанию печатный текст значительно отличается от черновика: введены новые сцены, многие диалоги написаны по-иному, украинские слова и обороты заменены русскими Короленко писал впоследствии А. Я. Конисскому, просившему у него разрешения перевести «Судный день» на украинский язык: «Я сам не владею настолько малорусским языком, чтобы с полной уверенностью взяться за такую работу, но, странное дело, — когда я писал „Лес шумит“ и „Иом-Кипур“, то по большей части сам как бы переводил, и черновые оказались до такой степени испещренными малорусскими оборотами и словами, что мне приходилось сильно выправлять их при переписке».

Одно время Короленко хотел сам перевести «Судный день» на украинский язык. Так в письме к И. В. Лучицкому 25 января 1893 года Короленко писал: "Насчет «Иом-Кипура» у меня уже раз спрашивали из Киева, и я не могу и теперь ответить ничего другого:

У меня насчет этого рассказа есть свой план. Хочу попытаться изложить его по-малорусски сам, потом попрошу добрых земляков исправить и издам с картинками, которые у меня вот так и стоят перед глазами... Поэтому пока что должен отклонить предложение о переводе. Разве уж у меня ничего не выйдет". Однако это намерение Короленко осталось неосуществленным.

Никаких следов этой работы в архиве писателя не обнаружено.

К писателю неоднократно обращались с просьбой разрешить переделать «Судный день» для сцены. Короленко отвечал на эти предложения решительным отказом. В письме к С. Ф. Соколову от 19 января 1909 года Короленко писал; «...мне самому приходил в голову план такой переделки „Иом-Кипура“ для сцены; говорил мне также Карпенко-Карый, что он серьезно думал об этом (а он был человек опытный в сценическом деле), но что тут встречаются огромные затруднения. Главное из них — чрезвычайная трудность избежать балаганщины. Этого можно было бы избежать лишь при серьезной художественной переработке самой фабулы, а это возможно только автору».

В основу рассказа положена легенда, слышанная писателем еще в детстве. В очерке «Ночью» Короленко передает эту легенду — о полупомешанном еврее Юдке, которого унес Хапун.

Примечания

1

Почтением, уважением (от франц. — respect)

2

Став-пруд

3

Простой народ в Юго-западном крае называет синагоги школами

4

Коршун

5

Лакомая, охочая до чего-нибудь (укр.)

6

Сумасшедшая

7

Подсыпка-работник на мельнице, засыпающий зерно на жернова

8

Копа — в малороссийском счете значит шестьдесят. Копа грошей — тридцать копеек

9

Балагула — известный в Западном крае специально еврейский экипаж, нечто вроде еврейского дилижанса; длинная телега, забранная холщовым верхом, запряженная парой лошадей, она бывает битком набита евреями и их рухлядью (бебехами). Балагулой же называется и возница

10

«Цур тобі, пек тобі» — заклинание

11

Барин, важное лицо (евр.)

12

Бедняга (укр.)